ПИСЬМА
РУССКОГО ОФИЦЕРА
Мемуары
участников войны
1812 года

Надежда Андреевна Дурова
Николай Николаевич Муравьев
Федор Николаевич Глинка
Денис Васильевич Давыдов
Алексей Петрович Ермолов
Александр Христофорович Бенкендорф

Письма русского офицера. Мемуары участников войны 1812 года

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5973153
Письма русского офицера / ред. коллегия: О. Елисеева, Т. Евсеева.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель; Москва; 2012
ISBN 978-5-98986-664-9, 978-5-271-42916-3

Аннотация

Отечественная война 1812 г. оставила множество интересных источников, среди которых особое место занимают воспоминания участников тех далеких событий. В предлагаемую вниманию читателей книгу вошли «Записки» Н. А. Дуровой, Ф. Н. Глинки, Д. В. Давыдова, Н. Н. Муравьева, А. П. Ермолова, А. Х. Бенкендорфа. Без этих мемуаров не обходится ни одно исследование, посвященное истории нашествия Наполеона на Россию. Всегда приятно изучить в большем объеме тексты, раздерганные на сотни цитат, и самостоятельно проверить, так ли уж близки концепции мемуаристов к идеям авторов многочисленных монографий и популярных работ.

Содержание

Предисловие 4
Фуражировка. На марше 22
Рассказ татарина. Поездка домой 42
1813 год. Война в Европе 44
Ночь в Богемии 48
Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера 52
10 мая 1812. Село Сутоки 53
16 июля 1812. Смоленск 54
17 июля. Смоленск 55
18 июля, 1812. Село Сутоки 56
19 июля. Там же 57
Августа 4 дня. Село Сутоки, в 2 часа, за полдень 58
Августа 8. Село Цуриково 59
13 августа 61
Августа 16 62
17 августа 63
Того же числа 64
18 августа 65
20 августа 66
21 августа 67
Конец ознакомительного фрагмента. 68

Письма русского офицера Мемуары участников войны 1812 года

Предисловие

Изучение Отечественной войны 1812 года немыслимо без привлечения широкого круга мемуарных источников, написанных участниками событий – крупными военачальниками и простыми жителями России, которым в грозную годину пришлось превратиться в солдат.

В настоящей публикации мы предлагаем читателям подборку наиболее интересных воспоминаний, без которых не обходится ни одно исследование заявленной темы. Всегда приятно изучить в большем объеме тексты, раздерганные на сотни цитат, и самостоятельно проверить, так ли уж близки концепции мемуаристов к идеям авторов многочисленных монографий и популярных работ.

Вниманию читателей предлагаются «Записки» Н. А. Дуровой, Ф. Н. Глинки, Д. В. Давыдова, Н. Н. Муравьева, А. П. Ермолова, А. Х. Бенкендорфа. Заглавие книги взято из знаменитых воспоминаний Глинки «Письма русского офицера», которые были составлены в излюбленной литературной форме той эпохи – эпистолярном жанре.

Каждый из включенных в книгу мемуарных фрагментов раскрывает для нас особую грань тогдашних событий и поновому поворачивает образ защитника отечества: это и герой-партизан, и кавалерист-девица, и простой пехотный офицер, и молоденький выпускник военного училища, и вестовой Главной Квартиры, и прославленный генерал, с мнением которого считались при дворе.

Одни из наиболее ярких мемуарных страниц принадлежат перу Надежды Андреевны Дуровой (1783–1866), больше известной как «кавалерист-девица». Это первая в отечественной истории женщина-офицер, прошедшая тяжелый боевой путь в эпоху Наполеоновских войн. В середине жизни она взялась за написание воспоминаний и, по словам А. С. Пушкина, «столь же крепко держала перо, как прежде саблю».

Дурова родилась 17 сентября 1783 г. в Киеве в семье отставного гусарского ротмистра А. В. Дурова и его супруги Н. И. Дуровой, урожденной Александрович. Ее мать была неординарной личностью, поклонницей европейской просветительской литературы, и очень страдала от того, что для нее, как для представительницы прекрасного пола, многие пути в жизни закрыты. Надеясь, в соответствии с теориями мистиков XVIII в., как бы перевоплотиться в сыне, она жадно ждала первенца, но появление на свет дочери сильно разочаровало ее. Пока

отец оставался на службе, семья жила будто бы «посреди военного лагеря». Девочку отдали на воспитание «дядьке» – гусару Астахову, который развлекал ребенка, как умел: «ходил в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махать саблею».

Неудивительно, что Надежда, выросшая на бивуаке, по-настоящему спокойно и защищенно чувствовала себя именно в походном лагере, а родной считала военную среду. Для нее естественно было ощущать себя «мальчишкой». С возрастом это убеждение не только не прошло, но и укрепилось. Надежде исполнилось 18 лет, когда ее выдали замуж за чиновника Сарапульского земского суда Чернова. С миниатюры тех лет на зрителя смотрит стройная темноволосая девушка с правильными чертами печального лица и длинной, «лебединой» шеей. Брак не принес ей счастья. Через два года супруги предпочли «разъехаться». Муж отправился служить в Ирбит, а Надежда с сыном Иваном вернулась в родительский дом. Тот факт, что Чернов не сумел, как было принято, оставить мальчика при себе, говорит о сильном характере матери.

Однако и под родным кровом Надежду ожидали страдания. Мать по-прежнему не принимала ее, возраст госпожи Дуровой только обострил ее раздражительность и ипохондрию. Она «постоянно жаловалась на судьбу пола, находящегося под проклятием Божьим, ужасными красками описывала участь женщин». Эти сетования вызвали у Надежды «отвращение к своему полу». Даже заботы о сыне не примиряли ее с действительностью. Наконец, жизнь показалась Надежде настолько невыносимой, что она решила бежать. Незаметно взяв старую казацкую одежду, Дурова отправилась купаться, платье бросила на берегу, а сама, облачившись в мужскую одежду, покинула дом, оставив четырехлетнего сына на руках бабушки и дедушки.

Родные решили, что Надежда утонула. Тем временем она присоединилась к полку донских казаков, направлявшихся на войну с Наполеоном в Польшу и Пруссию. Ей удалось выдать себя за «помещичьего сына Александра Соколова» и вступить в армию. Под этим именем Надежду приняли в уланский полк, и ей довелось увидеть кровопролитное сражение при ПрейсишЭйлау. Страшное зрелище тысяч убитых произвело на молодую женщину такое сильное впечатление, что она раскаялась в том, что обманула родных: ее могут убить в одной из подобных битв, а близкие так и не узнают, как сложилась судьба дочери.

Собравшись с духом, Дурова написала письмо отцу, прося прощения, но настаивая, что и впредь будет «идти путем, необходимым для счастья». Отставной ротмистр простил дочь, но написал прошение на имя императора Александра I, извещая государя о сложившейся ситуации и прося разыскать «господина Соколова». Дурову нашли и, не раскрывая истинного положения вещей, препроводили в Петербург, где она имела личную встречу с императором. Оставшись наедине с царем, Надежда бросилась на колени, призналась в своем поступке и изложила мотивы, вынудившие ее совершить обман. Александр I был тронут ее искренностью и безвыходным положением: нигде, кроме военного поприща, Надежда себя не мыслила, роль жены и матери казалась ей невыносимой. Император не только распорядился оставить Дурову на службе, не задавая ей более никаких вопросов, но и «подарил» новую фамилию – Александров, как бы утверждая тем самым свое покровительство. Эту фамилию Надежда носила до смерти и очень гордилась ею. Характерна реакция Дуровой на восстание декабристов – «отвращение», о котором она говорила Пушкину. Ее взгляд диктовался не только негодованием «старого служаки»: бунтовщики нарушили присягу. Но и позицией благодарного человека: мятежники сначала намеревались убить Александра I, который обошелся с ней по-доброму, сумев понять то, что в контексте традиционной культуры начала XIX в. было в принципе непонимаемо.

Итак, Дурова стала Александром Андреевичем Александровым. Была зачислена корнетом в Мариупольский гусарский полк. За участие в боях и за спасение жизни офицера в 1807 г. ее наградили знаком отличия Военного ордена – солдатским Георгиевским крестом

– чрезвычайно почетным и ценимым в России. В 1811 г. она перешла в Литовский уланский полк, принимала участие в отступлении русской армии от границы в 1812 г. Эти эпизоды описаны в ее мемуарах исключительно ярко. Во время Бородинского сражения Дурова получила легкую контузию, но оправилась, была произведена в чин поручика. Чуть позже она служила ординарцем у главнокомандующего М. И. Кутузова, сопровождая его до Тарутинского лагеря. После изгнания Наполеона из России Дурова принимала участие в Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг., отличилась при блокаде крепости Модлине, в боях при Гамбурге. Лишь в 1816 г. она вышла в отставку в чине штаб-ротмистра. Несколько лет жила у дяди в Петербурге, затем уехала в свое имение под Елабугой.

Получив приличное домашнее образование, Надежда Андреевна, подобно многим офицерам ее времени, вела на войне повседневные записки, которые позднее легли в основу мемуаров. Последние создавались в Елабуге, «от нечего делать». Впервые воспоминания Дуровой увидели свет в 1839 г. под названием «Кавалерист-девица. Происшествие в России». А в 1842 г. появилась первая, развлекательная, повесть А. Я. Рыкачева о ее приключениях. Уже тогда Дурову считали живой достопримечательностью, курьезом, чем-то вроде кавалера д'Эона, только наоборот. Ее биография попадала в книги о знаменитых травести. Мало кто задумывался, как неблагодарна подобная слава и как больно она отзывается на жизни человека.

Масла в огонь подливало поведение самой героини, которая ходила в мужской одежде, коротко стригла волосы, курила, закидывала ногу на ногу и говорила о себе в мужском роде. Когда сын Дуровой, практически не знавший матери, решил жениться, он попросил ее благословения, обратившись к Надежде Андреевне в письме: «дорогая матушка». Дурова ответила весьма строго: «обратитесь по чину». После чего прошение, адресованное «господину штаб-ротмистру», было написано, а благословение получено. Но отношения с Иваном у матери не восстановились.

Дурова скончалась в Елабуге 21 марта 1866 г. в возрасте 83 лет. Согласно завещанию, ее похоронили в мундире, с воинскими почестями на Троицком кладбище города. Жизнь этой удивительной женщины послужила основой для пьесы А. К. Гладкова «Давным-давно», которая впервые была поставлена в блокадном Ленинграде в 1941 г. По ней в 1962 г. Э. А. Рязанов снял кинофильм «Гусарская баллада».

Название этой книги взято из мемуаров известного литератора первой четверти XIX в. Федора Николаевича Глинки (1786–1880), чьи воспоминания, созданные вскоре после Отечественной войны 1812 года, привлекли внимание современников задолго до публикации, еще в списках. Сам он рассказывал: «В 1817 году, когда мне довелось быть Председателем известного в то время Литературного общества и, в чине полковника гвардии, членом Общества военных людей и редактором "Военного журнала", посетили меня в один вечер (в квартире моей в доме Гвардейского штаба) Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич Жуковский первый завел разговор о моих "Письмах русского офицера", заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества.

"Ваших писем, – говорил Жуковский, – нет возможности достать в лавках: все-де разошлись. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переписать. Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным".

Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался, а наконец заговорил: "Нет! – сказал он, – не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не дозволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро ее ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что написалось у вас, где случилось, как пришлось… Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных

огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать!”»

Последовал ли Глинка совету Крылова, судить читателю. При яркой и образной подаче материала он не раз увлекался «красивостями» стиля, меняя «схваченное второпях, на походе» и «вылившееся у бивачных огней» на более литературно безупречные обороты. Особенно заметна эта работа над текстом в самом начале воспоминаний, где автор рисует ожидание войны, страшные знамения и патриотический подъем, охвативший его и других офицеров еще накануне нападения французов. Эти страницы – дань литературной традиции того времени, но вряд ли живые зарисовки с натуры. Они выспренны и порой кажутся излишне цветистыми.

Лишь постепенно, с оставления Смоленска, события начинают описываться по старым дневниковым заметкам и интересны именно благодаря непосредственной реакции автора на происходящее. Тем не менее «новых заплат на старом кафтане» достаточно и в дальнейшем. Они заметны для внимательного читателя и касаются, в первую очередь, характеристики лиц, участвовавших в сражениях, например М. А. Милорадовича, «лирических отступлений», связанных с неприязнью к французам не просто как к завоевателям, а как к носителям определенной культурной традиции, а также подчеркнутого, восторженного русофильства автора.

Глинка происходил из старинной дворянской семьи, принадлежавшей к смоленской православной шляхте. Он воспитывался в Первом кадетском корпусе, по окончании которого в 1803 г. вышел офицером Апшеронского пехотного полка. Участвовал в походах 1805–1806 гг., которые ярко описал в «Письмах русского офицера о Польше, австрийских владениях и Венгрии». Это первое издание, принесшее автору известность, увидело свет в 1808 г. По окончании кампании 1806 г. Федор Николаевич вышел в отставку и поселился в родовом имении, где посвятил себя литературному творчеству. Его перу принадлежат «Письма к другу» – произведение, проникнутое идеологией раннего славянофильства, которое автор соединял с либеральными, вольнолюбивыми настроениями. А также повесть «Зиновий-Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». В 1812 г. Глинка вернулся в родной полк, где вскоре стал адъютантом генерала М. А. Милорадовича, вместе с которым принял участие практически во всех важнейших сражениях Отечественной войны и Заграничного похода русской армии. Милорадович на долгие годы стал покровителем Глинки, искренним восхищением перед ним проникнуты не только мемуары автора, но и специальные повести «Подвиги графа Милорадовича в Отечественную войну» и «Краткое обозрение военной жизни и подвигов графа Милорадовича».

После войны, в 1815–1816 гг., Глинка издал восемь частей «Писем русского офицера», которые подтвердили его славу одного из наиболее удачливых русских литераторов. Благодаря ей он стал в 1817–1819 гг. редактором «Военного Журнала», где по его замыслу начали издаваться воспоминания участников недавних военных событий. Часть из них была написана по-французски, т. е. на наиболее употребительном литературном языке того времени. Это не значило, что авторы не знали русского. Чаще всего они просто считали его языком сугубо разговорным, а свои мысли и чувства привыкли выражать на языке Корнеля и Расина. Глинка нередко выступал переводчиком таких текстов. Правда, его переводы, по мнению современных лингвистов, весьма сухи и даже лапидарны, как подстрочник. Тем не менее Глинка внес свою лепту в сложение нормы русского литературного языка.

Тогда же Глинка являлся председателем «Вольного общества любителей российской словесности». В 1819 г. он начал службу чиновником по особым поручениям при петербургском генерал-губернаторе. Эту должность занимал его старый начальник Милорадович, который сделал Глинку заведующим своей канцелярии. На этой должности Федор Никола-

евич «употребляем был для производства исследований по предметам, заключающим в себе важность и тайну». Например, в 1820 г. в его юрисдикцию попало расследование по делу «возмутительных стихов» А. С. Пушкина. И Глинка, и сам Милорадович проявили по отношению к молодому поэту понимание и снисходительность. В ответ сосланный на юг Пушкин назвал Глинку «Аристидом» и «великодушным гражданином». Однако после возвращения поэта их отношения разладились. Известна и другая характеристика, данная Пушкиным Федору Николаевичу, – «Кутейкин в эполетах», «Фита».

Глинка не остался в стороне и от деятельности тайных декабристских обществ. Со многими будущими декабристами его связывали тесная дружба и родство. Он состоял членом «Союза благоденствия», хотя, как считается, активного участия в работе не принимал. Однако его вольнолюбивые произведения нередко использовались декабристами при агитации. Например, популярным в кругу заговорщиков был перевод Глинкой 136-го псалма «Плач пленных иудеев», из которого особенно часто цитировалась строка: «…рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют». Здесь поэзия автора была ощутимо близка к лирике Адама Мицкевича. После восстания на Сенатской площади Глинка был заключен в крепость. Однако серьезных обвинений против него выдвинуто не было. В 1826 г. Глинку перевели советником губернского правления в Петрозаводск, где он служил до 1830 г., затем был переведен в той же должности в Тверь, еще позже – в Орел. Подобное решение показывало, что Федор Николаевич оставался под подозрением. Только в 1835 г. ему удалось выйти в отставку.

На севере России Глинка увлекся археологией. В Петрозаводске он написал поэму «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой». А в Тверской губернии описывает «каменные древности» севера нашей страны. По выходе в отставку Глинка жил в Москве, затем в Петербурге и, наконец, в 1862 г. вернулся в Тверь, где умер в глубокой старости. Его перу принадлежат стихи на религиозные сюжеты. Вскоре после разгрома декабристов он написал «Опыты священной поэзии», опубликованные в 1826 г. Много позднее, в 1859 г., появились «Иов, свободное подражание священной книге Иова». А в 1861 г. – поэма «Таинственная капля», изданная тогда же в Берлине. Эти тексты полны мистическими переживаниями, близкими к масонскому кругу сюжетов.

Ныне самым главным произведением Глинки, как и при его жизни, остаются «Письма русского офицера». Их популярность объясняется и несомненным литературным дарованием автора, и темой войны 1812 г., которая неизменно находит своих читателей. Мемуары Глинки – это яркие, трепетные, порой пристрастные тексты, представляющие богатую почву для размышлений.

«Записки» Дениса Давыдова с момента опубликования воспринимались читателями, как лихая, партизанская проза, написанная одним из самых известных и самых любимых героев войны 1812 г.

Денис Васильевич родился 16 июля в Москве в семье бригадира Василия Денисовича Давыдова, служившего под командованием А. В. Суворова. Согласно одной из легенд, Дениса еще в детстве благословил великий полководец, гостивший у отца в имении. «Этот удалой будет военным, я не умру, а он уже три сражения выиграет», – сказал Суворов о Денисе.

Детство поэта прошло в Полтавском легкоконном полку, которым командовал отец, в обстановке военного лагеря. Семья жила в Малороссии, на Слободской Украине. После восшествия на престол Павла I в 1796 г. Давыдовых постигла беда. В полку была произведена ревизия, открылась задолженность командира в размере 100 тыс. рублей, по суду отец был уволен в отставку. Чтобы избавиться от долга, Давыдов-старший продал имение и позднее купил небольшую подмосковную деревню Бородино. Этот выбор тоже оказался несчастным

для семьи: во время знаменитого Бородинского сражения деревня и располагавшийся в ней барский дом сгорели. Давыдовы остались фактически без средств к существованию.

В 1801 г. родители определили Дениса в кавалергарды, что было странным выбором при его малом росте. Когда юноша явился в полк, его поначалу даже не захотели принять. Однако он добился своего, и, как писал в автобиографии: «Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольною шляпою». К 1803 г. Давыдов уже дослужился до поручика. Именно к этому времени относятся его первые, весьма едкие эпиграммы, стихи и басни. Юноше хотелось остроумием обратить на себя внимание общества. Так и вышло: его первые литературные опыты, такие как басня «Река и Зеркало» или сатира «Сон», ходили в рукописях. Но при этом оказались задеты весьма высокие лица, в первую очередь молодой император Александр I, который, конечно, не собирался терпеть угрозы. Так, в басне «Голова и ноги» Давыдов писал: «Как ты имеешь право управлять/, Так мы имеем право спотыкаться/ И можем ненароком, как же быть,/ Твое величество о камень расшибить». На фоне революционных событий во Франции подобные намеки вызывали неприязнь к автору со стороны властей предержащих.

За сатирические стихи Давыдов был переведен из гвардии в армию – в Гродненский гусарский полк, находившийся в Подольской губернии на Украине. При этом он получил звание ротмистра, т. е. повышение сразу на два чина, как обычно делалось при переводе из гвардии в армию. Среди бесшабашных рубак и баловней судьбы поэт оказался на своем месте, здесь шалости, пирушки, небезопасные шутки воспринимались как должное. Язвительные басни отошли в прошлое, теперь Давыдов писал вакхические «зачашные песни», в которых превозносил кутежи в кругу друзей и красавиц. В 1819 г., когда поэт решил наконец жениться на генеральской дочери Софье Николаевне Чирковой, ее мать чуть было не отказала претенденту, узнав про его «зачашные песни». Добрую старушку не сразу убедили, что описанные попойки – не более чем поэтические вольности. Сам герой почти равнодушен к спиртному.

Служба в Гродненском полку не была тяжелой. Однако Давыдов мечтал попасть в действующую армию. Только в ноябре 1806 г. ему удалось отправиться на театр военных действий. Он был назначен адъютантом к П. И. Багратиону, участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау, отличился исключительной храбростью, получил орден Св. Владимира 4-й степени, присутствовал в 1807 г. в Тильзите во время встречи Александра I и Наполеона. Зимой следующего года Давыдов воевал в Финляндии, затем, во время нового столкновения с турками, – в Молдавии.

К началу войны 1812 г. Давыдов дослужился уже до чина подполковника. Его Ахтырский гусарский полк находился в авангарде отступающей армии и так дошел до Бородина. За пять дней до сражения, 21 августа, Денис Васильевич обратился к Багратиону с предложением создать партизанский отряд. Тот внял просьбе лихого вояки и отдал приказ о формировании летучей партизанской партии. С отрядом в 50 гусар и 80 казаков Давыдов совершал головокружительно дерзкие налеты на войска противника, которые ярко описаны в его мемуарах. Есть сведения, что действия Давыдова очень беспокоили лично Наполеона и тот приказал сразу же расстрелять командира, как только его возьмут в плен. Но вышло иначе: Бонапарту пришлось самому бежать из России, а Давыдов даже увидел из засады в лесу дормез французского императора…

Во время Заграничного похода русской армии Денис Васильевич получил два ордена: Св. Владимира 3-й степени и Св. Георгия 4-й степени. Он дрался под Калишем, занял Дрезден, участвовал в штурме Парижа. Наконец, ему присвоили чин генерал-майора. Однако вскоре оказалось, что чин присвоен по ошибке: из подполковников сразу на две ступени под-

няться было нельзя. Поэтому Давыдов некоторое время проходил в полковничьем звании и только потом получил первое генеральское.

В 1815 г. его избирают членом литературного общества «Арзамас», подтвердив успехи на поэтическом поприще. К этому времени его «гусарская лирика» была уже широко известна. Наиболее удачные произведения из этого цикла («Гусарский пир», «Песня старого гусара», «Полусолдат» и «Бородинское поле») вызывали живой отклик у публики. Давыдов был дружен со многими декабристами, но отклонил предложение вступить в общество. На его долю выпали еще две войны: в 1827 г. с Персией и в 1831 г. с восставшей Польшей. После чего Давыдов вышел в отставку, получил ордена Св. Анны 1-й степени, Св. Владимира 2-й степени и долгожданный чин генерал-лейтенанта. Заметным явлением в русской литературе второй четверти XIX в. стала военная проза Дениса Васильевича, который оставил воспоминания не только о своих военных приключениях, но и военачальниках, которых ему довелось встретить, например об А. В. Суворове и Н. Н. Раев ском. Именно Давыдов добился переноса праха князя Багратиона на Бородинское поле. Однако сам он не дожил до этого, скончавшись 22 апреля 1839 г.

Есть мемуары, которые не только сравнительно рано вошли в научный оборот, но и долгие годы определяли впечатления читателей от тех или иных событий отечественной истории. Воспоминания Николая Николаевича Муравьева (1794–1866) об Отечественной войне 1812 года много раз переиздавались в советское время, поскольку автор не только обладал живым пером, но и выглядел идеологически близким для господствовавшей тенденции. «Генерал-якобинец» – брат декабриста Александра Муравьева, сам причастный тайным обществам, долгие годы служивший на Кавказе при А. П. Ермолове, резкий, несговорчивый критик порядков в николаевской армии, сторонник освобождения крестьян, не раз оказывавшийся в опале за свои убеждения… С другой стороны, биография Муравьева изобиловала взлетами и высокими назначениями, каждое из которых он оправдывал весьма успешными действиями и как полководец, и как дипломат, не забывая при этом фрондировать и внешне оставаться как бы в оппозиции к происходящему. Либеральная общественность видела в нем человека дела, друга просвещения и вольнодумца. А правительство могло поставить в пример нерадивым военачальникам как строгого блюстителя порядка, искоренявшего лень и роскошь среди офицеров.

При этом Николай Николаевич оставался честен, не стараясь подделаться ни под тех, ни под других. Таковы были его убеждения. Он жаждал свободы и порядка, боевых побед и падения режима, наград и развенчания тех, кто был с ним не согласен. Его характер в какомто смысле был слепком с характера Ермолова, столь почитаемого генералом. Целостность подобного мировоззрения может быть понята только с учетом удивительного времени, в которое формировались эти герои. Французская революция, чтение просветителей, любовь к крайностям Ж. Ж. Руссо и войны с Наполеоном, воспитывавшие самый горячий патриотизм.

Николай Николаевич родился в обедневшей дворян ской семье, почти лишившейся средств к существованию. В 1811 г. отец зачислил его в Школу для колонновожатых, находившуюся в Москве и готовившую квартирмейстеров для армии. О поступлении в гвардию не шло и речи, содержание сыновей в столице стоило немалых денег. У Муравьева было два брата, и всем троим предстояло тянуть офицерскую лямку. Содержание кадетов в школе было весьма скромным, чтобы не сказать бедным. Ничего удивительного, что уже в «студенческие» годы будущий военачальник создал тайное «Юношеское собратство», объединявшее многих будущих декабристов. Муравьев и его товарищи собирались создать республику на острове Сахалин. Трудно сказать, что в большей степени помешало реализации этого плана: война 1812 г. или получение первого офицерского чина и отъезд несостоявшихся заговорщиков к месту службы.

Николай Николаевич был зачислен в армию прапорщиком и определен в квартирмейстерский отдел 1-й армии. Сражаясь вместе с ней, он принял участие в Бородинской битве, боях у Тарутина, под Вязьмой. Эти события увлекательно описаны им в мемуарах, главное достоинство которых – показ войны без прикрас и «конфетного» героизма. Предпочтителен и ракурс этого рассказа: читатель как бы видит происходящие события глазами младшего офицера, разделяющего с солдатами все тяготы отступления и не менее трагичного наступления. Уже в XX в. появился термин «лейтенантская проза» применительно к текстам о другой Отечественной войне. Муравьев стал наиболее дальним предшественником этого направления. Он максимально приблизил к читателю рассказ о своем времени, так что кажется, будто бородинская грязь и кровь буквально застыли у автора на пере.

Николай Николаевич принял участив в Заграничном походе русской армии, сражался под Лютценом и Бауценом, Кульмом и Лейпцигом, Фер-Шампенуазом и Парижем, получил несколько боевых наград и закончил войну в звании поручика. Его приняли на службу в Генеральный штаб, но отказ отца невесты знаменитого адмирала Н. С. Мордвинова выдать дочь за небогатого офицера вынудил Муравьева покинуть столицу и искать продвижения на Кавказе, где шла война с горцами. Там Николай Николаевич вновь встретился с Ермоловым, которого знал еще в годы Отечественной войны. На мемуарах Муравьева лежит неизгладимый отпечаток рассказов «проконсула» Кавказа, вплоть до похожего описания некоторых «фронтовых» эпизодов.

Муравьев сопровождал Ермолова в дипломатической поездке в Персию, затем служил у него корпусным квартирмейстером, а в 1819 г. был командирован в Среднюю Азию. За эту миссию Николай Николаевич получил чин полковника. Его книга «Путешествие в Туркмению и Хиву», написанная в 1822 г., была переведена на немецкий, английский и французский языки и издана за рубежом. Тогда же Муравьев получил в командование 7-й карабинерный полк, что существенно поправляло его материальное положение, и вскоре женился на генеральской дочери Софье Ахвердовой. Ермолов был на их свадьбе посаженным отцом.

События на Сенатской площади не прошли мимо семьи Муравьевых. Под следствием оказался брат Александр. Сам Николай Николаевич не пострадал и даже не привлекался к делу, хотя на него как на участника ранних организаций показал С. П. Трубецкой. Однако офицеры, служившие у Ермолова на Кавказе, практически не подверглись гонениям. Сам командующий как будто знал о тайных обществах, но не считал нужным их замечать.

В 1826–1828 гг. Муравьев принял участие в войне с Персией, а 1828–1829 гг. – с Турцией. Совершил дипломатическую миссию в Египет и Турцию, много сделал для заключения Ункяр-Искелесийского мирного договора 1833 г. Однако через три года Николай Николаевич был уволен со службы: у него не сложились отношения с новым командующим на Кавказе И. Ф. Паскевичем, который по возможности избавлялся от «людей Ермолова» в своем корпусе. Муравьеву припомнили и связи с политическими заключенными, и покровительство сосланным декабристам. Только в 1848 г. он сумел вернуться на службу, был назначен командиром гренадерского корпуса, участвовал в походе в Венгрию в 1849 г., при этом одобряя действия венгерских революционеров и считая союзническую помощь Австро-Венгрии «позорной» и ошибочной со стороны России.

В 1854 г. Муравьев был назначен наместником на Кавказе и главнокомандующим Отдельным кавказским корпусом с чином генерала. Он взял крепость Карс, что явилось ярким эпизодом на фоне неудачно складывавшейся Крымской войны 1853–1856 гг. За этот подвиг Николай Николаевич удостоился прибавления к фамилии «Карский». После подписания Парижского мира 1856 г. Муравьев вышел в отставку и был введен в Государственный совет, куда по традиции собирали всех именитых стариков. Он скончался через десять лет, увидев и освобождение крестьян, и эпоху великих реформ.

После смерти отца его дочь А. Н. Соколова напечатала его записки в журнале «Русский архив» в 1885–1895 гг.

Особого внимания заслуживают мемуары одного из самых известных участников войны 1812 г. Алексея Петровича Ермолова (1777–1861) – легенды русской армии, человека исключительно умного, талантливого, харизматичного и… неоднозначного с точки зрения нравственных качеств, а также результатов государственной деятельности на Кавказе.

Декабрист М. Ф. Орлов писал, что имя Ермолова «должно служить украшением нашей истории». А. С. Пушкин обращался к нему: «Подвиги Ваши – достояние Отечества, и Ваша слава принадлежит России». Но в «Путешествии в Арзрум» при описании героя признавал: «Улыбка неприятная, потому что неестественна», – и называл ее «улыбкой тигра». А. С. Грибоедов, служивший при Ермолове адъютантом «по дипломатической части» и хорошо знавший своего покровителя, именовал его «сфинксом новейших времен».

Итак, личность сложная и противоречивая, во многом загадочная. Человек железной воли и сильных страстей, независимый и вечно подозреваемый правительством в бонапартистских наклонностях – иными словами, в желании захватить власть. Воспетый в произведениях Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Рылеева, Глинки, Кюхельбекера, Бестужева-Марлинского.

Ермолов родился 24 мая 1777 г. в Москве. Он принадлежал к старинной небогатой семье, чьи корни уходили к вельможам, «выезжим из орды», что позволяло Алексею Петровичу впоследствии называть себя «Чингизидом». Его отец служил правителем канцелярии генерал-прокурора Сената и много работал под началом последнего фаворита Екатерины II П. А. Зубова. Ермолов-старший считал Зубова умным, сведущим человеком, прекрасно разбиравшимся в функционировании государственного аппарата, что противоречит закрепившейся в литературе репутации «дуралеюшки». В мемуарах его сына появился неожиданный пассаж: «Если бы нынешние знали потребности страны, как он!»

Благодаря связям отца Алексей еще в детстве был записан в гвардию, в Преображенский полк, но реальную службу начал только в 15 лет, по окончании Благородного пансиона при Московском университете. В 1792 г. он был произведен в капитаны и зачислен в Нежинский драгунский полк.

Через два года Ермолов уже отличился при штурме предместья Варшавы Праги, на него обратил внимание сам А. В. Суворов, который лично представил молодого капитана к ордену Георгия 4-й степени. Позже Ермолов воевал в Италии против французских войск, затем отправился в Каспийский корпус графа В. П. Зубова, направленный против иранской армии Ага Мохаммед-хана Каджара, вторгнувшейся в 1796 г. в Закавказье. После смерти Екатерины II новый император Павел I немедленно прекратил Каспийский поход и подверг его участников гонениям. Для начала Ермолова «задвинули» в провинцию: в Минской губернии он командовал конноартиллерийской ротой, чины шли своим чередом: в 1797 г. Алексей Петрович стал майором, еще через год подполковником.

Но вскоре Ермолова заподозрили в причастности к тайной политической организации, что в какой-то мере было правдой. Его кузен А. М. Каховский создал кружок поклонников Французской революции. Вся деятельность заговорщиков ограничилась сочинением и распространением сатир на Павла I. Ермолова допросили и на два месяца, без суда, заключили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. По выходе из него подполковника отправили в ссылку в Кострому. Чтобы не сойти с ума от скуки, молодой артиллерист самостоятельно выучил латинский и начал читать римскую литературу в подлинниках. Именно «костромскому сидению» Ермолов обязан блестящей «тацитовской» стилистикой своих писем и воспоминаний, которую отмечали многие современники.

Скажем сразу, что тексты Ермолова создавались в те годы, когда литературная норма только вырабатывалась. Причем писались они на родном языке, а не по-французски, как

мемуары многих современников. Его мемуары – своего рода языковой эксперимент – попытка обогатить русскую стилистику за счет латинской. Отсюда и необычное порой построение фраз, и некоторая громоздкость конструкций, тяготеющая сразу и к отечественной журналистике XVIII в., и к древнеримским образцам.

Во время ссылки трагическим образом изменился характер Алексея Петровича. Позднее он признавал: «В ранней молодости [Павел I] мне дал жестокий урок». Скрытность, осторожность, умение подстраиваться под сильного, не отказываясь от собственной силы, более того – демонстрируя свою независимость, стали отличительными чертами Ермолова. При этом ему так и не удалось добиться сдержанности языка. Он всегда умел к месту ввернуть острое словцо, ермоловские шутки повторялись и в армии, и при дворе, а его письма и мемуары полны колких характеристик сослуживцев. «Бурная, кипучая натура» не позволяла Алексею Петровичу ужиться ни с равными, ни с вышестоящими. А вот подчиненные его обожали, для них он стал настоящим «отцом-командиром».

Ермолов был участником всех войн с Наполеоновской Францией: в 1805, 1806 и 1807 гг. К началу Отечественной войны он достиг уже звания генерал-майора от артиллерии и занял должность начальника штаба Первой армии, которой командовал М. Б. Барклай-де-Толли. Алексей Петрович попал в непростое положение, поскольку согласовывать действия своего шефа – «ледовитого Барклая» и своего прежнего покровителя – горячего и порой несдержанного Багратиона, руководившего Второй армией, было чрезвычайно трудно.

«За что терпел я от тебя упреки, Багратион, благодетель мой! – восклицал в мемуарах Ермолов. – Я всеми средствами старался удерживать между вами, яко главными начальниками, доброе согласие, боясь малейшего охлаждения одного к другому. В сношениях и объяснениях ваших, чрез меня происходивших, нередко холодность и невежливость Барклая-де-Толли представлял я пред тебя в тех видах, которые могли казаться приятными. Твои отзывы, иногда грубые и колкие, передавал ему в выражениях обязательных. Ты говаривал мне, что сверх ожидания нашел в Барклае-де-Толли много хорошего. Не раз он повторял мне, что он не думал, чтобы можно было, служа вместе с тобою, не встречать неудовольствия. Благодаря доверенности ко мне вас обоих я долго удержал бы вас в сем мнении».

Сложные отношения связывали Ермолова с всесильным графом А. А. Аракчеевым, оказывавшим серьезное влияние на политику Александра I. Долгое время считалось, что Аракчеев тормозил карьеру Алексея Петровича. Однажды на смотру он неодобрительно отозвался о лошадях в конной артиллерии, а в ответ услышал: «Долго ли карьера офицеров армии будет зависеть от скотов?» Казалось бы, забыть такое невозможно. Но именно Аракчеев после Заграничного похода русской армии предложил императору назначить Ермолова военным министром.

Александр I не внял совету. Он не доверял Ермолову, более того, считал выдвижение популярных в армии офицеров крайне опасным для своей власти. «Очень остер и весьма часто до дерзости», – говорил о нем царь. Алексея Петровича ждал Кавказ. В 1816 г. он был назначен командующим отдельным Кавказским корпусом. Вопреки распространенному мнению, эта должность вовсе не была для Ермолова ссылкой. Напротив, он с нетерпением ждал отправления к новому месту службы. В письме к М. С. Воронцову Алексей Петрович признавался: «Мне снится этот дивный край». А при мысли о возвращении в Петербург и участии в вахтпарадах его «мурашки по спине задирали».

У императора были причины подозревать Ермолова в неверности, хотя внешне командующий Кавказским корпусом демонстрировал полную лояльность. Позднее и в разговорах с Пушкиным, и в личном письме Николаю I он настаивал на доверии к нему покойного государя Александра I. Однако его покровительственное отношение к членам тайных обществ, благодушное незамечание их деятельности, дружба с некоторыми из них вызывали серьезное недовольство в Петербурге.

Многие декабристы рассчитывали на помощь Ермолова и в мемуарах даже упрекали его, что после провала восстания на Сенатской площади он не снял свой корпус и не бросил его на Петербург, чтобы установить республику. Ермолова прочили членом Временного революционного правительства. Однако сам Алексей Петрович предпочитал увидеть на троне своего старого сослуживца по походу Суворова в Италию и давнего покровителя цесаревича Константина Павловича. По этой причине командующий Кавказского корпуса «промедлил» с присягой Николаю I. А вскоре, в 1826 г., началась война с Персией, на первых порах крайне неудачная для Ермолова. В столице ходили упорные слухи, что сам же командующий своей политикой среди народов Закавказья и спровоцировал новое столкновение. У молодого императора не было причин доверять Алексею Петровичу, и в 1827 г. тот был смещен с поста. Новым командующим на Кавказе стал П. Ф. Паскевич, который и закончил победой войну с Персией. Но начавшуюся еще в 1817 г., во многом из-за наступательных действий Ермолова, войну с горскими народами Чечни и Дагестана правительству не удавалось завершить долгие годы.

После отставки Алексей Петрович жил то в Орле, то в Москве. На короткий срок вернулся к активной деятельности, назначенный членом Государственного совета, но вскоре подал в отставку, понимая, что на Кавказ ему уже не вернуться. Он писал мемуары, вел обширную переписку с друзьями, оставил богатейшую библиотеку, по завещанию перешедшую к Московскому университету, занимался переплетным делом.

Точность и детальность описаний в мемуарах Ермолова показывают, что они были созданы на основе более раннего дневника. «Записки» охватывают период 1798–1826 гг., однако имеют заметные лакуны, например, опущен рассказ о Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг., а также о начале Русско-персидской войны 1826–1828 гг., об обстоятельствах отставки с поста «проконсула» Кавказа.

Сам Ермолов признавался, что создал свои «Записки» «не для печати». Тем не менее в последние годы жизни, по настоянию близких, он занялся подготовкой к их публикации. Уже тогда мемуары ходили в списках, содержавших много ошибок. По ним и была предпринята первая публикация 1863–1864 гг. Тогда же племянник и наследник героя – Николай Петрович Ермолов – осуществил сверенное по оригиналу и учитывающее правку дяди, издание «Записок». Именно оно считается наиболее «легитимным».

«Записки» Александра Христофоровича Бенкендорфа (1783–1844) представляют собой уникальное явление в отечественной мемуаристике. С момента их появления в печати приводимые автором сведения активно использовались в историографии, но… часто без ссылки на источник. Слишком одиозной казалась фигура самого Бенкендорфа, овеянная множеством темных легенд. В пушкинистике сложился образ тайного убийцы в голубом мундире, который если не прямо, то косвенно повинен в гибели великого поэта. (Легенда позднее перешла и на М. Ю. Лермонтова, за которого в действительности Бенкендорф не раз просил императора.) Отечественное декабристоведение охотно ополчалось против участника суда над восставшими, человека, который помог Николаю I серьезно «подморозить» Россию.

Между тем, и пушкинисты знали отзывы самого поэта, согласно которым Александр Христофорович был «безусловно благородной» личностью. И в декабристоведении хорошо известны оценки М. А. Фонвизина, Н. И. Лорера, С. Г. Волконского, писавших о Бенкендорфе как о следователе, заступавшемся за арестантов. Подобная информация отсекалась как несоответствующая господствующей идеологической схеме. Однако тот факт, что созданный образ противоречит источникам, был давно известен в кругу профессионалов. И неудивительно, что изменение оценки личности Бенкендорфа началось именно с его мемуаров.

Так, в монографии известного отечественного источниковеда А. Г. Тартаковского «1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого исследования», изданной в 1980 г., признано, что Бенкендорф оставил «богатейшее мемуарное наследие», которое «не подвергалось изучению». Его «Записки» содержат «обширные по размерам повествования», охватывающие «крупные периоды наполеоновских войн». По мнению Тартаковского, воспоминания Бенкендорфа принадлежат к числу немногих «мемуарно-исторических сочинений», в которых автор пытался не только изложить, но и осмыслить происходившие события, дать характеристику действующих лиц, показать, как разворачивавшиеся на его глазах картины связаны с прошлым, а иногда и с будущим России.

Бенкендорф принадлежал к старинной дворянской семье, его предки в XVI в. переселились из Бранденбурга в Лифляндию. Дед был обер-комендантом Ревеля, отец, Христофор Иванович, воевал в Первую Русско-турецкую войну, дослужился до генеральского чина, входил в свиту наследника престола Павла Петровича. Женился на ближайшей подруге великой княгини Марии Федоровны – Анне Шиллинг фон Канштадт, позднее занимал пост военного губернатора Риги. Супруга Христофора Ивановича рано умерла, оставив ему четверых детей, устройством судьбы которых занялась Мария Федоровна. Отсюда покровительство, которое жена Павла I в течение долгих лет оказывала детям покойной подруги. В частности, Александру Христофоровичу. Он, безусловно, принадлежал к ближнему кругу вдовствующей императрицы и был осведомленным, но очень скромным наблюдателем многих тайн августейшей фамилии.

Бенкендорф родился 23 июня 1783 г. (по другим данным, в 1781 г.). Получил образование в знаменитом пансионе аббата Д. Ш. Николя, где воспитывались представители лучших столичных фамилий. Службу начал в 1798 г. унтер-офицером Семеновского полка. Тогда же стал флигель-адъютантом Павла I, а после его гибели – нового императора. Как и его родителям, Александру пришлось переживать удаления от двора, короткие опалы и новые сближения с государями, исполнять их секретные поручения. Долгие годы Мария Федоровна следила и направляла карьеру воспитанника. Александр Христофорович отвечал ей искренним восхищением и позднее писал, что вдовствующей императрице «ничего нельзя поставить в вину, кроме слишком строгого отношения к собственным детям». Эту строгость Бенкендорф не раз испытал на себе. В юности он вел разгульный образ жизни, за что неизменно попадал «на ковер» к покровительнице. Случалось, она даже оплачивала его долги. Далеко не любую претендентку на руку Александра Христофоровича царица готова была одобрить. Так, в 1808 г. она запретила ему жениться на знаменитой французской драматической актрисе мадемуазель Жорж, похищенной Бенкендорфом из Парижа. Зато когда Мария Федоровна посчитала избранницу действительно достойной, она даже не стала пускаться в объяснения с ее родней (теперь недовольны были кандидатурой жениха), а просто послала обеспокоенным тетушкам икону – благословить – и тем решила дело.

Неудивительно, что, испытывая сильный контроль, молодой Бенкендорф постоянно старался вырваться из-под опеки. Такую возможность предоставляла служба в армии. Благо военных кампаний в начале XIX в. Россия вела достаточно. В 1803–1804 гг. Александр Христофорович участвовал в войне с Персией, отличился при взятии крепости Гянджи, затем в сражениях с лезгинами, был награжден орденами Св. Анны 4-й степени и Св. Владимира 4-й степени. В 1804 г. Бенкендорф был командирован на остров Корфу, где формировал так называемый Албанский легион из греческих и албанских повстанцев для экспедиции в южную Италию в предстоящей войне с Францией. Воевал с Наполеоном в Пруссии в 1806–1807 гг., отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, был награжден орденом Св. Анны 2-й степени и получил чин полковника. В 1807–1808 гг. ездил с посольством графа П. А. Толстого в Париж. Из-за страстного романа с Жорж пропустил войну со Швецией и, испугавшись, что вся слава пройдет мимо, в 1809 г. отправился на театр военных действий против Турции. В 1811 г. под

Рущуком Бенкендорф возглавил атаку Чугуевского уланского полка, за что был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

Начало войны 1812 г. Александр Христофорович встретил в составе Императорской Главной Квартиры. Как флигель-адъютант он поддерживал связь между Александром I и главнокомандующим Второй армией П. И. Багратионом. Затем командовал авангардом «летучего корпуса» генерал-адъютанта барона Винценгероде – первым войсковым партизанским отрядом. Когда войска Наполеона оставляли Москву, авангард Бенкендорфа с боем вошел в покидаемую столицу. До приезда властей Александр Христофорович осуществлял обязанности военного коменданта Москвы. Город продолжал кое-где гореть, ориентироваться приходилось по остовам церквей на перекрестках улиц. В столице оставались брошенные раненые французы, между руинами бродили банды, грабившие то, что не успел взять неприятель. Характерена фраза из письма Бенкендорфа к другу М. С. Воронцову: «Все разоружены и накормлены».

Освободившись от трудных обязанностей в Москве, Бенкендорф продолжал преследование противника до Немана. Затем участвовал в Заграничном походе русской армии, отличился в сражениях при Темпельберге, Люнебурге, при Гросс-Берене, в Битве народов при Лейпциге, получил ордена Св. Георгия 3-й степени и Св. Анны 1-й степени. Во главе отдельного отряда совершил поход в Голландию, занял Амстердам, Утрехт, Роттердам, Бреду, Мехельн. В 1814 г. командовал кавалерией в сражениях при Краоне и Лаоне, дрался при Сен-Дизье. Был награжден прусским орденом Pour le merite («За заслуги»), Большим крестом ордена Шведский меч.

После войны карьера Бенкендорфа на несколько лет забуксовала: он отправился в провинцию, на Украину, где сначала командовал уланской бригадой, а затем драгунской дивизией, дислоцированной в городке Гадяче. Заметив, что друг откровенно дичает, Воронцов спрашивал его из Парижа: «Бога ради, в каком обществе ты вращаешься?» На что Александр Христофорович отвечал: «Общество? Не смеши меня. В Гадяче?» Только исполнение ряда секретных поручений Александра I позволило ему снискать доверие императора. В частности, он вел расследование убийства дворовых помещиком Синявиным и, несмотря на сильную столичную родню виновного, решил дело в пользу крестьян. В 1819 г. Бенкендорф, наконец, получил пост начальника штаба Гвардейского корпуса и чин генерал-адъютанта.

Через два года он передал на имя Александра I записку о «Союзе Благоденствия». Тот факт, что государь оставил доклад «без внимания», впоследствии вспоминался Бенкендорфом с горечью. Он считал, что восстания на Сенатской площади можно было бы избежать, прими правительство своевременные меры. В ходе следствия среди бумаг покойного императора Бенкендорф обнаружил и свою записку, уже в ней перечислялись «главные члены» тайного общества. Однако Бенкендорф открыл существование заговора как бы заранее, не тогда, когда планировал Александр I. За что и пострадал – ему вновь пришлось покинуть столицу и принять должность командира 1-й кирасирской дивизии.

В 1824 г., во время знаменитого наводнения, описанного А. С. Пушкиным в «Медном всаднике», Бенкендорф оказался в Петербурге, во дворце, и вместе с генерал-губернатором М. А. Милорадовичем принял активнейшее участие в спасении утопающих. «Он многих избавил от потопления», – писал позднее А. С. Грибоедов. После бедствия Бенкендорф был назначен временным военным комендантом Васильевского острова и наиболее пострадавшей части столицы, где своими быстрыми и удачными мерами снискал уважение жителей.

Во время восстания 14 декабря Бенкендорф находился в свите молодого императора Николая I. Потом был назначен членом Следственной комиссии, затем – суда над декабристами. Он писал, что глубоко убежден в том, что только люди, умудренные долгими годами службы и хорошо разбирающиеся в работе государственного аппарата, могут управлять страной. Все притязания декабристов он считал дерзким мальчишеством, а наруше-

ние ими присяги – преступлением. Однако во время следствия генерал-адъютант не раз оказывал помощь арестантам и стремился не подвести под удар невиновных. Именно точное исполнение приказа молодого царя – лучше отпустить двух виновных, чем осудить одного невиноватого – позволило ему выдвинуться из круга следователей. Именно Бенкендорфу в следующем году государь поручил создание политической, или «высшей полиции», так называемого III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

В реальности грозное III отделение выглядело не совсем так, как привык современный читатель благодаря исследованиям советского времени. В нем служило сначала 12, а под конец 36 офицеров. Корпус жандармов, прообраз внутренних войск, составлял 4 тыс. человек. Для сравнения, согласно проекту П. И. Пестеля, для поддержания революционного порядка в стране правительству декабристов понадобилось бы не менее 40 тыс. чел. Тем не менее резонанс от деятельности «высшей полиции» в стране значительно превышал саму эту деятельность и с каждым годом вызывал все более раздраженную реакцию. Причем не только в среде либерально мыслящих литераторов, но главным образом – чиновничества, недовольного самим фактом надзора за соблюдением законодательства.

Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Бенкендорф командовал охраной Николая I и признавал, что это «абсолютно бесполезно», поскольку государь повсюду ездил один. Участвовал во взятии Варны. В 1829 г. – генерал от кавалерии, награжден орденом Св. Владимира 1-й степени, член Государственного совета. С 1832 г. – граф, в 1834 г. – орден Св. Андрея Первозванного. Со времени похода 1828 г. по 1837 г. сопровождал императора Николая I во всех его поездках и путешествиях по России и Европе. Бенкендорф умер 23 августа 1844 г. по дороге домой из Бадена, где находился на лечении. Николай I считал, что в его лице потерял близкого друга. «Он ни с кем меня не поссорил, а примирил со многими» – лучшая эпитафия на могиле главы тайной полиции.

Понятно, что мемуары такого осведомленного лица, каким был Бенкендорф, представляют особый интерес для исследователей. Хотя их плодотворное изучение началось сравнительно недавно, с середины 1980-х гг.

Мемуары о войне 1812 г. являются не только одним из самых интересных и ярких источниковых комплексов, доступных современным историкам. Они как ни один другой документальный пласт приближают читателя к давно ушедшим дням великого противостояния с Наполеоном и к людям той бурной и неоднозначной эпохи.

Война 1812 года. Случай в Польше

Говорят старики уланы, что всякий раз, как войско русское двинется куда-нибудь, двинутся с ним и все непогоды. На этот раз надобно им поверить: со дня выступления провожают нас снег, холод, вьюга, дождь и пронзительный ветер. У меня так болит кожа на лице, что не могу до нее дотронуться. <…> Я каждый вечер умываюсь сывороткой, и от этого средства боль немного прошла, но я сделалась так черна, так черна, что ничего уже не знаю чернее себя. <…>

Кастюкновка. В этом селении назначена эскадрону нашему дневка. Квартирою нам <…> служит крестьянская хижина, почернелая, закоптелая, напитанная дымом, с растрепанною соломенной кровлею, земляным полом и похожая снаружи на раздавленную черепаху. Передний угол этой лачуги принадлежит нам; у порога и печи расположились наши денщики, прилежно занимаясь чисткою удил, мундштуков, стремян, смазываньем ремней

и тому подобными кавалерийскими работами. Неужели нам оставаться целый день в такой конурке и в таком товариществе! <…>

Селенье ****. Здесь остановились мы, не знаю, надолго ли. Мне отвели квартиру у униатского священника; молодая жена его очень нежно заботится доставлять мне все, что есть лучшего у нее в доме; всякое утро приносит мне сама кофе, сливки, сахарные сухари, тогда как для мужа приготовляет просто стакан гретого пива с сыром; обед ее всегда вкусен, деликатен, и, только чтоб не до конца прогневить супруга, готовится одно какое-нибудь блюдо по его вкусу, который, надобно признаться, довольно груб.

Вчера пастырь наш был очень рассержен чем-то; во все продолжение обеда хмурился и отталкивал блюда, которые жена его подставляла ему, приятно усмехаясь; к счастию, гневу его не довелось разразиться на словах. Никто не говорил с ним, и даже старались не встречаться взглядами; в этом маневре жена была из первых.

Хозяйка выводит меня из терпения; нет дня, чтоб она не говорила мне: вы должны быть непременно поляк! «Почему вы так думаете?» – спрашиваю я и получаю в ответ какую-нибудь пышную глупость: вы так приятно говорите; приемы ваши так благородны! Она с ума сошла!.. «Неужели приятность разговора и благородство приемов принадлежат, по Вашему мнению, исключительно одним полякам? Чем же провинились перед вами все другие нации, позвольте спросить, что вы отнимаете у них эти преимущества?..» Вместо ответа она смеется, отделывается шутками и снова начинает открывать во мне различные доблести поляка. Отбиваясь всеми возможными доводами от чести быть поляком, сказала я, между прочим, хозяйке, что если она замечает во мне чтонибудь не совсем русское, так это может быть оттого, что в крови моей есть частицы малороссийской и шведской крови, что бабки мои с отцовской и материнской стороны были одна малороссиянка, другая шведка. Хозяйка зачала хвалить шведов, превознося до небес их храбрость, твердость, правоту; хозяин приметно терял терпение; на беду, в это самое время подали ему любимое блюдо его, гречневую кашу, облитую сверху салом и усыпанную выжаренными кусочками этого же самого сала; в Польше называют их, не знаю уже для чего и почему, – шведами. Хозяин, схватя блюдо, поставил его перед собою и с исступлением стал бить ложкою по этим безвинным кусочкам, приговаривая: «Не люблю шведов! не люблю шведов!» Сальные брызги летели на мундир и эполеты мои; я поспешно встала из-за стола, обтирая платком лицо… «Ах, мой боже! – вскликнула хозяйка, стараясь вырвать у него из рук ложку, – помешался, совсем помешался!»

Дни через три после этой сцены хозяйка принесла мне поутру кофе, как то делала всякий день; но в этот раз она уже не дожидалась, пока я возьму из рук ее чашку; она поставила все передо мною на столик и, не говоря ни слова, села задумчиво у окна. «Что так невесела, моя прекрасная хозяйка?» – спросила я. «Nic, panie porucznik! (Ничего, пан поручик! – *польск.*) – Помолчав с минуту, она стала говорить: – Будете вы помнить меня?» – «Буду, клянусь честию, буду!» – «Дайте же мне залог этого обещания». – «Извольте; что вам угодно?» – «Это кольцо!» Она взяла мою руку, сжимая легонько мизинец, на котором было золотое кольцо… Этого я не ожидала; молча и в замешательстве смотрела я на молодую попадью, устремившую на меня свои черные глаза, и не знала, что делать!.. Кольцо это было подарено девицею Павлищевой, и я поклялась ей никогда не расставаться с ним. Между тем хозяйка ждала ответа и, разумеется, невольно смешалась, видя, что я не снимаю в ту ж секунду кольцо, чтоб отдать ей… «Что это значит, мой друг, что ты сидишь у господина поручика и забыла, что я еще не завтракал?» Это говорил разгневанный хозяин; он растворил дверь моей комнаты и, увидя, что жена его держит мою руку, остановился на пороге. Жена кинулась к нему: «Ах, жизнь моя, душа моя, прости мне, пожалуйста! сейчас все будет готово!» Говоря это, она как молния проскочила мимо мужа и оставила его в положении статуи на пороге дверей, прямо против меня. Успокоенная счастливым оборотом дела, грозившего сначала лишить меня кольца, этого бесценного залога дружбы, я просила хозяина

войти ко мне. «Я скажу вам радостную весть, господин поручик», – говорил хозяин, входя в комнату. «Какую ж это, почтенный отец?» – «Вы завтра идете в поход». – «Завтра! а вы как это знаете?» – «Я сейчас от вашего ротмистра; просил было, чтоб вас переместили к кому другому. Вы, надеюсь, не прогневаетесь на это; я не так богат, чтоб давать стол и все выгоды офицеру долее двух или трех дней, а вы стояли у меня около двух недель. Все это я представил вашему ротмистру; но он сказал, что сию минуту получено повеление выступить в поход и что завтра в восемь часов утра эскадрон ваш выйдет отсюда». – «Поздравляю вас, любезный хозяин! весть эта, конечно, радостнее вам, нежели мне; теперь время не слишком благоприятно для похода: и дождь, и снег, и холод, и пыль – все вместе! Я думал, мы дождемся здесь, пока весна установится прочно». – «Что ж делать! когда велят, надобно идти». Сказав это, хозяин поклонился мне с ироническою усмешкою и отправился пить свое гретое пиво.

Итак, поход! да и к лучшему, идти так идти; на этих квартирах мы только бесполезно разнеживаемся; привыкаем к лакомствам, ласкам, угождениям; белые атласные ручки легонько треплют по щеке; рвут нежно за ушко; дают конфект, варенья; стелют мягкую постель, и как легко, как приятно свыкаться! Со всем этим вдруг поход, вдруг надобно перейти от неги к суровостям, пересесть с бархатной софы на бурного коня и так далее: во всем контраст! Я не успела кончить своих размышлений, как ротмистр прислал за мною. «Ну, брат, – сказал он, как только я отворила дверь к нему в горницу, – прощайся с черноглазой попадьей своей, завтра поход!» – «Слава Богу, ротмистр». – «Слава Богу? вот новость!.. да не ты ли был pienne dziecko и czerwone jabłko? (прекрасное дитя и красное яблочко – *польск.*) Неблагодарный!..» Шутка ротмистра напомнила мне, что я в самом деле неблагодарна; за любовь хозяйки я не могла заплатить ни любовью, ни золотым кольцом; но все надобно было бы подарить что-нибудь на память, и, разумеется, не деньги! Я возвратилась на квартиру; хозяйка печально накрывала стол; хозяин стоял у окна, играл какую-то жалобную песню на скрипке и посматривал иронически на жену.

До обеда оставался еще целый час; я пошла в свою горницу, чтоб посмотреть, не найду ли чего подарить хозяйке; роясь в вещах своих, отыскала я две дюжины сарпинских платков, радужно блестящих; я купила их в Сарепте и послала батюшке; но когда была у него в гостях, он подарил мне их обратно, и они лежали у меня без употребления; я вынула их и разложила по столу. Продолжая ревизовать свое имущество, я отыскала в углу чемодана свой силуэт, снятый еще в гусарском полку и в том же мундире; я положила его к платкам и опять зачала перебрасывать все, что было в чемодане. Наскуча наконец искать и не доискиваться и чтоб кончить все одним разом, я взяла чемодан за дно, перевернула, вытрясла всю его начинку на пол и села сама тут же; в ту самую минуту, как я с восторгом схватила одною рукой стразовую пряжку к поясу, а другою большой платок, подаренный сестрою, вошла хозяйка: «Обед готов! что вы это делаете?» – «Вы хотели иметь какую-нибудь вещь на память, сделайте мне удовольствие, выберите, что вам понравится», – говорила я, показывая ей на платки, силуэт, пряжку и платок большой. «Я выбрала кольцо». – «Его нельзя отдать, это подарок друга». – «Святая вещь, подарок друга! берегите его!..» Она подошла к столу, взяла силуэт и, не обращая глаз на другие вещи, пошла к дверям, говоря, что муж ее ждет меня обедать. Выбор подарка тронул меня, я побежала за нею, обняла ее одною рукой и убедительно просила взять еще хоть стразовую пряжку для пояса: «Ведь вы любите меня, моя добрая хозяюшка! для чего ж не хотите взять вещь, которую будете носить так близко к сердцу?» Она не отвечала ничего и даже не взглянула на меня; но, прижав к груди руку мою, взяла из нее легонько пряжку и сошла вниз, не говоря ни слова. Через минуту я последовала за нею; хозяин сидел уже за столом, хозяйка показывала ему пряжку. «Ну что я в этом разумею», – говорил он, отталкивая руку ее и пряжку. Увидя меня, он встал, прося меня садиться за стол: «А что, мой друг, сегодня надобно бы получше угостить господина поручика, ведь он расстается с нами, вероятно, навсегда; что у нас сегодня?» – «Увидишь». После

этого короткого ответа, сказанного как будто с досадою, она села на свое место. «Моя жена сердится на вас, – стал говорить хозяин, – вы слишком дорого платите ей за эти две недели, которые мы имели удовольствие доставлять вам кой-какие неважные выгоды». – «Кажется, я ничем не платил вам; блестящую безделку нельзя принимать как уплату; это просто для…» – я хотела сказать – воспоминания, но хозяйка взглянула на меня, и я замолчала, как можно заметить, очень некстати; хозяин докончил: «Подарок для памяти, не так ли? Но мы и без него помнили бы вас». День этот весь, до самого вечера, хозяин был в хорошем нраве; он шутил, смеялся, играл на скрипке, целовал руки жене и просил ее спеть под аккомпанемент его игры: vous me quittez… вы меня покидаете… – *фр.*), прося и меня присоединить мои убеждения к его. «Вы еще не знаете, как прекрасно поет моя жена!..» Наконец жена потеряла терпение, укоризненно взглянула на своего мужа глазами, полными слез, и ушла. Это расстроило хозяина; он в замешательстве и торопливо повесил скрипку на стену и отправился вслед за женою. Я пошла к ротмистру и пробыла там до полночи, именно для того, чтоб не видаться, если можно, этого вечера ни с одним из моих хозяев; но обманулась в своем расчете; оба они дожидались меня ужинать и были, по-видимому, в самом лучшем согласии. Видя, как хозяйка амурно прилегла на грудь своего супруга, я подумала было, что подозрения мои неосновательны, и, обрадовавшись этому открытию, стала говорить с нею весело, дружески и доверчиво; но разочарование было готово. Муж оборотился к дверям приказывать что-то человеку; хозяйка в это время проворно вынула из-за косынки мой силуэт, показала мне его, поцеловала и опять спрятала; все это сделала она в две секунды, и, когда муж ее снова обернулся к нам, она опять прильнула к плечу его.

Я встала на рассвете, на минуту завернула к хозяину и жене его, пожелала им счастливо оставаться и отправилась к ротмистру ожидать часа, назначенного для похода. Насмешник Торнези всю дорогу ехал подле меня и пел: nie kochaysie we mnie, bo to nadaremnie… (не влюбляйся в меня, потому что это напрасно… – *польск.*).

Мы идем не торопясь, переходы наши невелики, и вот снова велено нам остановиться впредь до повеления, и, как нарочно, квартиры достались самые невыгодные. Деревня эта бедна, дурна и разорена, надобно думать, непомерными требованиями ее помещика. Мы все четверо квартируем в одной большой избе, и разместились – Чернявский с старшим Торнези у окна на лавках; а я с младшим у печи на нарах; прямо против нас на печи, под самым потолком, сидит старуха лет в девяносто. Не знаю, для чего она берет себя беспрерывно двумя пальцами за нос, говорит при этом самым тонким голосом – хм! и потом прикладывает эти два пальца к стене. Первые дни мы с Торнези хохотали как сумасшедшие над этим упражнением нашей Сивиллы, но теперь уже привыкли и, несмотря на пронзительное хмыканье, иногда забываем, что над нашими головами есть нечто дышащее.

Этого года весна какая-то грустная, мокрая, холодная, ветреная, грязная; я, которая всегда считала прогулкою обходить конюшни своего взвода, теперь так неохотно собираюсь всякое утро в этот обход, лениво одеваюсь, медлю, смотрю двадцать раз в окно, не разъясняется ли погода; но как делать нечего, идти надобно непременно, иду, леплюсь по кладкам, цепляюсь руками за забор, прыгаю через ручейки, пробираюсь по камням и все-таки раз несколько попаду в грязь всею ногой. Возвратясь из своего грязного путешествия, я застаю моих товарищей всех уже вместе: Чернявский читает Расина, Сезар курит трубку и всегда кладет кусочек алоя на верх табаку, говоря, что так делают турки; Торнези, Иван, представляет иногда балет – Ариадна на острове Наксосе, и всегда самую Ариадну. Это могло б рассмешить и умирающего; я забываю в ту ж минуту затруднительный вояж по грязным улицам.

Подъямпольский поехал в штаб для каких-то отчетов дни на три; товарищей моих послали доставить овса и сена для наших лошадей, а я осталась командиром эскадрона и повелителем всей деревни по праву сильного. Я так мало заботилась знать что-нибудь в этой деревне, кроме своих конюшен, что даже не знала, есть ли в ней почта или нет; сегодня утром

я имела случай узнать это. Окончив все занятия по службе, взяла я какую-то Вольтерову сказку перечитывать в сотый раз от нечего делать и от нечего читать; и когда я с нехотением и скукою развернула книгу и легла было на походный диван свой – лавку с ковром, дверь вдруг отворилась и вошел молодой пехотный офицер: «Позвольте узнать, кто здесь командует эскадроном?» – «Я». – «Прикажите, сделайте милость, дать мне лошадей; я спешу в полк, вот моя подорожная; жид, содержатель почты, не дает мне лошадей, говорит, что все в разгоне, но он лжет; я видел – множество их ведут поить». – «Сию минуту будут у вас лошади. Прошу садиться. Послать ко мне дежурного!..» Дежурный пришел. «Ступай сейчас на почту и прикажи заложить лошадей в экипаж господина офицера, каких найдешь, хотя бы жид и сказал, как то они говорят обыкновенно, что у него одни только курьерские». Дежурный пошел и в две минуты возвратился с жидом, содержателем почты. Иуда клялся и говорил, что не даст лошадей, потому что остались только одни курьерские. «А вот увидим, как ты не дашь лошадей! – Я оборотилась к дежурному: – Я приказал тебе, чтоб лошади были непременно заложены; зачем ты пришел ко мне с жидом?» С окончанием этого вопроса дежурный и жид в одну секунду исчезли; их обоих словно вихрем вынесло за дверь, и через десять минут экипаж офицера подкатился к крыльцу моей квартиры. Офицер встал: «Не служили ль вы когда в гусарах?» – спросил он. «Служил». – «И, верно, в Мариупольском? и, верно, вы Александров?» – «Да, почему вы это знаете?» – «Я был с вами знаком в Киеве; мы были вместе на ординарцах у Милорадовича; неужели вы меня не вспомните?» – «Нет». – «Я Горленко». – «Ах, боже мой! теперь только я припоминаю себе черты ваши; как я рад! Посидите же у меня еще немного; расскажите мне о других наших товарищах; где Шлеин, Штейн, Косов?» – «Бог их знает; я с ними, так вот как и с вами, до сего времени нигде не встречался. Увидимся где-нибудь все; теперь настало время разгульного житья, то есть беспрестанной ходьбы, езды, походов, переходов, то туда, то сюда, где-нибудь да столкнемся; с ними я не был так дружен, как с вами. Помните ли, как мы садились всегда в конце стола, чтоб быть далее от генерала и брать на свободе конфекты? Ташка ваша всегда была нагружена для обоих нас на целый день». – «Нет, это вы уже шутите, я что-то не помню, чтоб нагружал свою ташку десертом». – «А я так помню! Прощайте, Александров! Дай Бог нам увидеться опять такими же, как расстаемся!» Он сел в повозку и понесся вдоль по ухабистой дороге посреди тучи грязных брызг. Я возвратилась в свою дымную лачужку, очень довольная тем, что заставила проклятого жида дать лошадей; я еще не забыла тех придирок и задержек, которые испытывала на станциях, когда ездила в отпуск. Все проделки смотрителей тотчас пришли мне на память, как только Горленко сказал, что ему не дают лошадей под предлогом, будто они все в разгоне, и я обрадовалась случаю отмстить хоть одному из этого сословия.

Фуражировка. На марше

Наконец и я отправилась доставать фураж! Мне, как и другим, дали команду, дали предписание за подписью и печатью командира полка ездить по окружным поместьям, требовать у помещиков овса и сена, брать все это и взамен давать расписки, с которыми они могут посылать своих старост в эскадрон, чтоб там получить квитанции и с ними опять ехать в штаб; там тоже дадут квитанции, и с этими уже квитанциями должны господа помещики явиться в комиссию для получения уплаты наличными деньгами.

На рассвете оставила я грязную деревню нашу <…> и, последуемая двенадцатью уланами, отправилась в путь. Первым поприщем моих действий было поместье подкоморого Л***, в тридцати верстах от наших квартир. Поручение мое казалось мне довольно щекотливым, и оттого я пришла в большое замешательство, когда увидела дом пана Л*** в десяти шагах от себя… Как я начну! что скажу! Может быть, это человек почтенный, старый, отец семейства; примет меня радушно, сочтет за гостя, а я, я буду требовать овса почти даром! Я ведь знаю, что поляки неохотно отдают свои произведения под наши квитанции и все способы употребляют избавиться от них; что и весьма натурально. Как бы ни был верен платеж по квитанциям, но все веселее и вернее получить сию минуту наличные деньги, нежели разъезжать туда и сюда с квитанциями. Рассуждая, размышляя и краснея от готовящейся драмы, я все-таки доехала, взъехала на двор, взошла в комнаты, и предчувствие не обмануло меня…

Меня встречает человек лет шестидесяти; лицо его печально, взор беспокоен. Приметно, однако ж, что причина этого не мы, незваные гости; ему даже и не видно улан моих, а я одна, с моею наружностью семнадцатилетнего юноши, не могла испугать его; итак, это какая-нибудь домашняя скорбь рисуется на добродушном лице его. Поляки всегда очень вежливы; он пригласил меня сесть, прежде нежели спросил, что доставляет ему честь видеть меня в своем доме. Наконец начало сделано; вопрос, столько ужасающий меня, вылетел из уст моего хозяина; я отвечала, покраснев, как только может человек покраснеть, что имею поручение от полка отыскивать фураж, где только есть возможность достать его, и купить… разумеется, не на деньги, а под квитанцию. «Я не могу вам служить этим, – сказал помещик равнодушно, – неделя тому назад у меня сгорело все: овес, сено, пшеница, рожь, и я теперь отправил к окружным помещикам купить для себя всего этого, если продадут. Квартирование ваше, господа кавалеристы, очень выгодно для тех из нас, у которых есть что продавать вам, но служит величайшим подрывом для тех, которые, подобно мне, ищут купить». В продолжение этого разговора нам подали кофе. Л*** продолжал: «Вы имеете поручение весьма затруднительное; простите мою откровенность, но под квитанции ни один помещик не продаст вам продуктов земли своей; не продал бы и я даже и тогда, если б все мы не имели другой дороги сбыть их; посудите же, отдадут ли их теперь, когда имеют случай продать за наличные деньги?» Я встала в нерешимости и не знала, что делать: уехать, не говоря более ни слова, или показать ему предписание? Л*** тоже встал. «Вы уже едете? Жалею очень, что не могу исполнить вашего требования; мне приятно было бы долее пользоваться удовольствием видеть вас у себя, если б я не был убит горестию: вчера я схоронил сына!..» Он не мог более ничего сказать; глаза его затмились слезами, и он сел, не в состоянии будучи держаться на ногах. Я поспешно вышла, села на лошадь и в галоп ускакала с моими уланами.

Под вечер приехала я в поместье Старостины Ц*** и теперь уже несколько смелее вошла в комнату. Как на беду, и здесь надобно иметь дело с старостью; меня приняла дама лет осьмидесяти; узнав мою надобность, она велела позвать эконома и просила меня заняться чем-нибудь, пока он придет. Говоря это, она отворила дверь в другую комнату; это была обширная зала, где собраны были всех родов способы забавляться: волан, бильярд, кольцо,

карты, разрезные картинки, арфа, гитара… Я нашла тут общество молодых людей; все они занимались разными играми. «Это все мои внуки», – сказала хозяйка, вводя меня в их круг; они в ту ж минуту просили меня взять участие в их играх; я тотчас согласилась и от всей души предалась удовольствию играть во все игры поочередно; подхватывая и отбрасывая волан, я в то же время слушала очаровательную игру на арфе одной из девиц и восхитительное пение другой. Как желала я, чтоб эконом не приходил как можно долее! При звуках арфы и прекрасного голоса можно ль было помыслить, не содрогаясь, о том предписании, которое, как спящий змей, лежало у меня на груди под мундиром; стоило только вынуть его, и все встревожатся. А теперь – как веселы эти молодые люди! Как они полюбили меня! Как дружелюбно жмут мне руки, обнимают, целуют; девицы сами ангажируют, в танцах резвятся, бегают! Все мы теперь не что иное, как толпа взрослых детей, и вот чрез какие-нибудь полчаса вдруг все переменится; я сделаюсь отчаянным уланом, имеющим и власть и возможность забрать у них фураж… А мои пленительные хозяева… что сделается с их радостными физиономиями, живым и веселым говором! Ах, для чего и здесь не сгорел весь овес и не умерла которая-нибудь внука или внук!.. Тогда мне легче было бы уехать без всего; а теперь!.. Вот я уже в пятидесяти верстах от эскадрона, а еще ничего не сделала и, верно, не сделаю, потому что всякий помещик, хотя бы он имел одну только каплю ума, не даст мне ничего под простую расписку; а требовать повелительно и в случае отказа все-таки надобно взять нужное и отправить в эскадрон на их же лошадях, дав помещику за все это расписку!.. Как можно подумать об этом и не прийти в отчаяние! По крайней мере, я впервые проклинала свое уланское звание; среди танцев, смеху, беготни я вздрагивала всякий раз, когда отворялась дверь в нашу залу. К счастию, эконом не пришел до самого ужина, и, к величайшему моему благополучию, хозяйка сказала, что может дать мне овса четвертей десять и четыре воза сена с тем, чтоб людям ее было заплачено за провоз и чтоб с моею распискою ехал в эскадрон при возах ее староста и мой унтер-офицер; я с великою радостью и благодарностию согласилась на все ее распоряжения и поцеловала ее руку; я поцеловала бы ее и тогда, если б не была к этому обязана обыкновением Польши и моим одеянием, потому что ее снисходительность сняла ужаснейшую тяжесть с моего сердца и избавила от необходимости шевелить змея, которого теперь повезу далее.

Отправя возы с фуражом, я возвратилась к веселому обществу; меня ожидали ужинать, и хлопоты отправления замедлили ужин одним часом; когда сели за стол, хозяйка поместила меня подле себя. «Вы слишком усердны к службе, молодой человек, – начала она говорить, – возможно ли смотреть самому и дожидаться, пока возы с фуражом наложатся и выберутся из селения; это уже чересчур: по вашему виду и молодости я не предполагала найти в вас такого хорошего служивого». Безрассудная старуха не знала того, что для ее же выгод я ни на минуту не выпускала из виду моих улан; они могли бы поискать в разных местах чего-нибудь получше овса! Долго ли будут люди судить всегда по наружности!.. Меня удерживали ночевать, но я уже разочаровалась и не находила более приятности быть в этом обществе.

Оставя дом Старостины Ц***, я решилась ехать всю ночь, чтоб на рассвете посетить еще деревню отставного ротмистра М*** польской службы; жиды сказали мне, что у него очень много заготовлено овса и сена, и именно на продажу; надеюсь, судьба будет так милостива ко мне, что спящий змей не проснется.

Старый народовец, к которому я пришла в десять часов утра, принял меня со всем радушием кавалериста: «Садитесь, садитесь, любезный улан, чем вас потчевать? вина вы, верно, еще не пьете, не правда ли? итак, кофе. Гей, Марисю!» На этот возглас явилась Марися, седая, сухая, высокая, с пасмурною физиономией. «Прикажи, милая, подать нам кофе». Самолюбию моему было очень лестно, что Марися (хотя ей было под пятьдесят) взглянула на меня ласково и с усмешкою, тогда как взор ее на ветерана выражал и досаду и пренебрежение вместе; она отвечала, что сейчас будет готов, ушла и через четверть часа

возвратилась с кофеем. Сказав своему господину, что его спрашивает эконом, сама поместилась подле меня, чтоб разливать кофе; я не удивлялась этой фамилиарности: домоправительницы холостых стариков имеют все привилегии госпож и в Польше бывают почти всегда из дворян, то есть шляхтянки. Наконец хозяин возвратился; узнал причину моего приезда, покачал головою, пожал плечами: «Ну, если я не дам под расписку вашу овса, что тогда?» – «Тогда у меня не будет его», – отвечала я. «Вы умереннее, нежели я ожидал, и это делает вам много чести. Для чего ваши начальники не посылают вас с деньгами, вместо права давать расписки?» – «Не знаю; это уже, думаю, хозяйственное распоряжение полка. Но ведь и вам все равно, что расписка, что деньги; разница только во времени; получите немного позже, потому что надобно ехать за ними в штаб». Народовец рассмеялся: «Ах, как вы еще молоды, kochany kolego! (милый коллега! – *польск.*) Пойдемте, однако ж, вам, я думаю, нельзя терять времени, пойдемте; я велю дать вам двадцать четвертей овса; более этого не могу и не хочу уделить вам от назначенного уже мною в продажу не иначе как на деньги». Я так обрадовалась этим двадцати четвертям, которые превышали мое ожидание, давали возможность возвратиться в эскадрон и освободиться наконец от ненавистной баранты, что схватила руку старого народовца и побежала было с быстротою лани, таща его с собою… «Тише, тише, молодой человек! верю, что вам приятно получить столько овса без хлопот; но моя пора бегать прошла уже; сверх того, я ранен в обе ноги, итак, пойдемте шагом». Я устыдилась своего неуместного восхищения и молча шла подле моего доброхотного хозяина. Мы прошли через прекрасный сад и вышли к его стодолам и житницам; тут стоял эконом и мои уланы. Наконец все готово; я отправила всех своих улан с этой добычею и оставила при себе только одного, располагаясь провесть день у любезного народовца и завтра возвратиться в эскадрон. С каким удовольствием вынула я из-за мундира свое предписание, изорвала его в мельчайшие кусочки и бросила в озеро. Как я была рада! Вся веселость моя возвратилась, и старый ротмистр так доволен был моим товариществом, что просил меня самым убедительным образом остаться у него еще дни на два: «Ваша юность цветущая, живость, веселость приводят мне на память и оживляют в душе моей счаст ливое время молодости; таков был я в ваши лета; останьтесь, молодой человек, – говорил он, обнимая меня, – подарите эти два дни старику, который полюбил вас, как сына!» Я осталась. В награду моей уступчивости хозяин мой пригласил к себе из окружных поместьев семейства три или четыре. Я провела очень весело время у бравого народовца; мы танцевали, играли во все возможные игры, бегали по горницам не лучше пятилетних детей, и сколько ни хмурилась Марися, но шум, говор, смех, танцы нисколько не утихали; и сверх того, хозяин превзошел наше ожидание, установив огромный стол конфектами, вареньями и лакомствами всех родов. Каково-то было бедной Марисе; она не могла пройти мимо этого стола, не сделав какой-то судорожной гримасы.

Два дни минуло; я простилась с моим добрым хозяином и поехала обратно в эскадрон. Так кончилась неприятная откомандировка моя, и дай Бог, чтоб никогда уже более не возобновилась! Возвратясь домой, я ничего не рассказывала ротмистру, кроме того, что не имела нужды прибегать к насильственным мерам. <…>

Сегодня товарищи мои возвратились, и сегодня же мы идем в поход. Долго ль это будет! я что-то худо понимаю, для чего мы идем с такими расстановками?

Мы прошли верст сто и опять остановились. Говорят, Наполеон вступил в границы наши с многочисленным войском. Я теперь что-то стала равнодушнее; нет уже тех превыспренных мечтаний, тех вспышек, порывов. Думаю, что теперь не пойду уже с каждым эскадроном в атаку; верно, я сделалась рассудительнее; опытность взяла свою обычную дань и с моего пламенного воображения, то есть дала ему приличное направление.

Мы стоим в бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши оседланы, мы одеты и вооружены; с полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выезжает за селение содержать пикет и делать разъезды; другая остается в готовности на лоша-

дях. Днем мы спим. Этот род жизни очень похож на описание, которое делает мертвец Жуковского:

Близ Наревы дом мой тесный:
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет,
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем…

Это точь-в-точь мы, литовские уланы: всякую полночь седлаем, выезжаем; и домик, который занимаю, тесен, мал и близ самой Наревы. О, сколько это положение опять дало жизни всем моим ощущениям! Сердце мое полно чувств, голова мыслей, планов, мечтаний, предположений; воображение мое рисует мне картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить ее с тою, какую вела я в Домбровице! Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу; о, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни!.. Балы, танцы, волокитства, музыка… о боже! какие пошлости, какие скучные занятия!..

Право, я не думала, что найду употребление тому вину, которого раздают нам по две рюмки каждый день наравне с солдатами; но, видно, не надобно ничем пренебрегать: вчера, проходя одно селение, должно было нашему эскадрону идти через узкую плотину; какое-то затруднение, встретившееся переднему отделению, заставило эскадрон остановиться; другие, подходя, потеснили нас с тылу, и лошади наши, теснясь и упираясь, чтоб не упасть в широкие рвы с боков плотины, стали беситься, бить и становиться на дыбы. В этом беспорядке меня вдавили в середину моего взвода и так сжали, что я хотя и видела, как стоящая передо мною лошадь располагалась ударить меня своею хорошо подкованною ногою, но во власти моей было только с мужеством дождаться и вытерпеть этот удар; от жестокой боли я вздохнула из глубины души! Негодная лошадь имела и волю и возможность раздробить ногу мою, потому что я была, как в тисках; к счастию, когда она собиралась повторить удар, эскадрон тронулся с места, и все пришло в порядок. Когда стали на лагерь, я осмотрела свою ногу и ужаснулась: она была расшиблена до крови и распухла: от подошвы до колена ломит нестерпимо. В первый раз в жизни я охотно села бы в повозку; мучительно ехать верхом; но как переменить этого нечем, то и надобно терпеть. Повозок при нас давно уже нет ни одной. Теперь вино пригодилось мне; всякий день я мою им больную ногу свою и вижу, к испугу моему, что она делается с каждым днем багровее, хотя боль и утихает. Ступень ушибленной ноги сделалась черна, как уголь; я боюсь смотреть на нее и не могу понять, отчего почернела ступень, когда ушиб на средине между ею и коленом?

Штаб-лекарь Карнилович говорит, что ногу мою надобно будет отрезать; какой вздор!

Что бы это значило? Мы отступаем, и очень поспешно, а еще ни разу не были в деле!

Сегодня шли без дороги, лесом; я думала, что мы спешим прямым путем на неприятеля, но ничего не бывало; мы прибежали, чтоб вытянуть фронт наш в высоких конопляx. Было для чего торопиться! Однако ж впереди нас сражаются… <…> Мы все еще стоим в конопляx; день жарок до несносности. Ротмистр Подъямпольский спросил меня, не хочу ли я купаться? И когда я отвечала, что очень бы хотела, тогда велел мне взять начальство над четырнадцатью человеками улан, отряженными им за водою к ближней речке, которая была также недалеко и от сражающихся. «Теперь имеешь случай выкупаться, – сказал ротмистр, – только будь осторожен: неприятель близко». – «Что ж мы не деремся с ним?» – спросила я, вставая с лошади, чтобы идти на реку. «Как будто всем надобно драться! подожди еще,

достанется и на твою долю; ступай! ступай! не мешкай! да смотри, пожалуйста, Александров, чтоб соколы твои не разлетелись». Я пошла позади моей команды, велев унтер-офицеру идти впереди, и в таком порядке привела их к речке. Оставя улан наполнить котелки свои водою, умываться, пить и освежаться как могли, я ушла от них на полверсты вверх по течению, проворно разделась и с неизъяснимым удовольствием бросилась в свежие, холодные струи. Разумеется, я недолго могла тут блаженствовать; минут через десять я вышла из воды и оделася еще скорее, нежели разделась, для того что выстрелы слышались очень уже близко. Я повела свою команду, освеженную, ободренную и несущую благотворную влагу своим товарищам.

<…> Подъезжая к селению, расположенному недалеко от той горы, где находился монастырь, я приказала уланам ехать по траве, прижать сабли коленом к седлу и не очень сближаться одному с другим, чтоб не бренчать стременами. У самого селения я остановила свою команду и поехала одна осмотреть, не кроется ли где неприятель. Мертвое молчание царствовало повсюду; все дома были брошены своими жителями; все было тихо и пусто, и одна только черная глубь растворенных сараев и конюшен крестьянских страшно зияла на меня. Зелант, имевший дурную привычку ржать, когда отставал от лошадей, теперь, казалось, таил дыхание и ступал так легко по твердой дороге, что я не слыхала его топота. Уверясь, что в селении никого нет, я возвратилась к своим уланам и повела их через деревню к подошве горы. Тут, взяв с собою двух улан и одного унтер-офицера, оставила я всю свою команду, а сама поехала на гору к стенам монастыря. <…> «Нам что-то слышится в поле, ваше благородие, – говорили уланы, – и что-то маячит то там, то сям, как будто люди на лошадях, но разглядеть порядочно не можем, а чуть ли то не французы». Я сказала, что если при оклике не скажут лозунга, то стрелять по них, и, взяв с собою смененных улан, поехала к оставленной под горою команде. Проезжая рощу, окружавшую монастырь, я очень удивилась, увидя одного из тех людей, которые должны были ждать меня у подошвы горы, идущего ко мне пешком. «Что это значит? – спросила я. – Зачем ты здесь и без лошади?» Он отвечал, что лошадь сшибла его. «Как! стоя на месте!» – «Нет; на нас напали французы; унтер-офицер, которому вы поручили нас, убежал первый; нам нечего было делать, и мы разбежались в разные стороны. Я поскакал было к вам, чтоб дать знать; но лошадь моя стала на дыбы и, сбросив меня, убежала». – «Где ж французы?» – «Не знаю». – «Прекрасно!» Я не вправе была взыскивать с солдата, когда унтер-офицер бежал, но чрезвычайно была недовольна и встревожена этим обстоятельством. При выезде из рощи увидела я толпу конных людей, которые что-то нерешительно переминались: то поедут, то станут, то всадят лошадей и наклонятся один к другому. Я остановилась, чтоб всмотреться, что это такое; но, услыша русский разговор, тотчас подъехала к ним и спросила, кто они? «Казаки, – отвечал мне один из них, – хорошо, что вы остановились, а то мы хотели ударить на вас». – «Для чего же ударить, не окликнув, не спроса лозунга, не узнав наверное, неприятель или свой? Да что еще значит: хорошо, что вы остановились?» – «А как же! ведь вы давеча бежали от нас…» Теперь все дело объяснилось: несколько человек казаков, рыская, по обыкновению, по всем местам, заехали и в пустую деревню посмотреть, нет ли чего или кого; оттуда пустились в монастырь и, увидя под горою конный отряд, сочли его за неприятельский, и пока совещались между собою: гикнуть на него или нет, храбрецы мои, сочтя их также за неприятелей, не рассудили за благо этого дождаться и, следуя примеру негодяя унтер-офицера, бросились скакать в разные стороны. Это рассыпное бегство и быстрота лошадей их спасли от преследования казаков, которые, взъехав в гору, осмотрели монастырь и, не нашед ничего и никого, отправились обратно; но, увидя меня с тремя уланами, приняли за тех же, по их мнению, французов, которые от одного вида их бежали, и если б я не подъехала к ним с вопросом, то они ударили бы на нас с пиками. «Уж мы хотели было принять вас хорошенько!» – сказал один бравый казак лет пятидесяти. «Куда вам, – отвечала я с досадою, – наши пики тверже

ваших, вы не нашли б места, куда убежать»; и, не слушая более их толков, поехала своею дорогою. Свыше всякого выражения я была недовольна и обескуражена. Что ожидает меня в будущем? Можно ль пуститься на какое-нибудь славное дело с такими сподвижниками? При одном виде опасности они убегут, выдадут, остыдят. Зачем я оставила доблестных гусаров моих? Это – сербы, венгры! Они дышат храбростию, и слава с ними неразлучна!.. Все пропало для меня в будущем; но что еще ожидает меня теперь? Трусы, верно, уже встревожили резерв; Подъямпольский может послать в Главную Квартиру с этим адским донесением: «пикет под начальством поручика Александрова разбит неприятелем». <…> А мне сказано, что и тень пятна на имени Александрова не простится мне никогда!.. Мысли и чувства, черные, как ночь, тяготили ум и сердце мое; я ехала шагом в сопровождении трех улан, мне оставшихся; вдруг сильный топот скачущего полуэскадрона поразил слух мой. Взглянув вперед, увидела я Торнези Сезара, несущегося, как вихрь, а за ним летящий полуэскадрон. Увидя меня, он вскрикнул с изумлением, останавливая свою лошадь: «Это ты, Александров! Скажи, ради Бога, что такое случилось?» – «Чему случиться, брат? Разумеется, случилось то, что и всегда будет случаться с нашими трусами. Они испугались казаков и, не пошевеля даже оружием, бежали, как зайцы».

<…> Происшествие это сделало глубокое впечатление недоверчивости в душе моей; я стала бояться всякой откомандировки, всякого поручения, если только исполнять его надобно было вместе с моею командою. Никогда, никогда уже нельзя будет поверить им! Правду говорил Ермолов, что трус солдат не должен жить. Тогда такое заключение казалось мне жестоким, но теперь вижу, что это – истина, постигнутая великим умом необыкновенного человека. Ленивый земледелец, расточительный купец, вольнодумец священник – все они имеют порок, противоположный их званию и выгодам, но пример их никого не увлекает, и они вредны только себе: бедность и презрение остаются им в удел. Но трус солдат!! У меня нет слов изобразить всю великость зла, какое может сделать один ничтожный, робкий негодяй для целой армии!.. И в теперешнем случае, какие беды навлекло бы на мою голову одно только то, что трус испугался своей тени, убежал, увлек за собою других, был бы причиною ложного донесения, напрасной тревоги всего войска! Нет, робкий солдат не должен жить: Ермолов прав!

Эти размышления занимали меня до рассвета. Ведеты наши были сменены; трусов наказали больно, унтер-офицера еще больнее. По окончании этой расправы новая мысль не дает мне покою, пугает, стыдит меня; и я ничем не могу выжить ее из головы, краснею, начертывая эти строки: не я ли одна виновата? не я ли одна заслуживаю и нарекание и наказание? Я офицер; мне поручен был этот отряд; зачем я оставляла их одних и с таким унтер-офицером, который никогда еще не был в деле?

Скорыми маршами едем мы в глубь России и несем на плечах своих неприятеля, который от чистого сердца верит, что мы бежим от него. Счастие ослепляет!.. <…> Вопреки бесчисленным поклонникам Наполеона беру смелость думать, что для такого великого гения, каким его считают, он слишком уже уверен и в своем счастии и в своих способностях, слишком легковерен, неосторожен, малосведущ. Слепое счастие, стечение обстоятельств, угнетенное дворянство и обольщенный народ могли помочь ему взойти на престол; но удержаться на нем, достойно занимать его будет ему трудно. Сквозь его императорскую мантию скоро заметят артиллерийского поручика, у которого от неслыханного счастия зашел ум за разум: неужели, основываясь на одних только сведениях географических и донесениях шпионов, можно было решиться идти завоевывать государство обширное, богатое, славящееся величием духа и бескорыстием своего дворянства, незыблемой опоры русского престола; устройством и многочисленностию войск, строгою дисциплиною, мужеством их, телесною силою и крепостью сложения, дающего им возможность переносить все трудности; государство, заключающее в себе столько же народов, сколько и климатов, и ко всему этому

имеющее оплотом своим веру и терпимость? Видеть, что это славное войско отступает, не сражаясь, отступает так быстро, что трудно поспевать за ним, и верить, что оно отступает, страшась дождаться неприятеля! Верить робости войска русского в границах его отечества!.. Верить и бежать за ним, стараясь догнать. Ужасное ослепление!! Ужасен должен быть конец!..

Французы употребляют все старания догнать нас и подраться, а мы употребляем тоже все старания уйти и не драться. Маневр этот очень утешает меня. Забавно видеть, с какою быстротою несем мы доверчивого неприятеля своего во глубину лесов наших!.. не всегда, однако ж, кажется это смешным. Воображая страшный конец отступления нашего, я невольно вздыхаю и задумываюсь. Французы – неприятель, достойный нас, благородный и мужественный; но злой рок в виде Наполеона ведет их в Россию; в ней положат они головы свои, в ней рассыплются кости их и истлеют тела.

<…> Марши наши довольно велики; я почти всякий раз выезжаю в ночь, приезжаю на место около полудня, и, пока разведут места всему ариергарду, я жду своей очереди принять назначенное для полка; после этого надобно тотчас ехать ему навстречу, разместить эскадроны и, опять дождавшись конца всей суматохи и новых приказаний, отправляться в путь.

Третьи сутки прошли так же: лагерь занят под местечком Кадневом. Я не в силах долее выносить; возвратясь из лагеря в местечко, я послала улана на дорогу смотреть, когда покажется полк, и дать мне знать, а сама пошла на квартиру в намерении что-нибудь съесть и после заснуть, если удастся. В ожидании обеда легла я на хозяйскую постель и более ничего уже не помню… Проснувшись поздно вечером, я очень удивилась, что дали мне так долго спать; в горнице не было ни огня, ни людей; я поспешно встала и, отворя дверь в сени, кликнула своего унтер-офицера; он явился. «Разве полк не пришел еще?» – спросила я; он отвечал, что нет, а что пришел один только Киевский драгунский. «Для чего ж вы не разбудили меня?» – «Не могли, ваше благородие; вы спали сном смертным; мы сначала будили вас тихонько, но после трясли за руки, за плечи, посадили вас, поднесли свечу к самым глазам вашим, наконец, брызнули холодной водою в лицо вам; все напрасно: вы даже не пошевелились. Хозяйка, при которой все это происходило, заплакала, увидя, что мы, не успев разбудить вас, положили опять на постель: “Бедное дитя! он как мертвый! зачем вы берете таких молодых в службу?” Она, наклонясь к вам, прислушивалась, дышите ли вы. Оставшись при вас, я велел улану ехать далее по дороге навстречу полка; но он скоро возвратился с уведомлением, что нашему полку переменен маршрут. <…>

Между нашим ариергардом и неприятельским авангардом бывают иногда небольшие сшибки, так только, чтоб не совсем без дела отступать. Охота же так бежать!.. Я не знаю, что мне делать; смертельно боюсь изнемочь; впоследствии это припишут не чрезмерности стольких трудов, но слабости моего пола! Мы идем и день, и ночь; отдохновение наше состоит в том только, что, остановя полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса; уланы тотчас ложатся у ног своих лошадей, а я, облокотясь на седло, кладу голову на руку, но не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною. Мы не только не спим, но и не едим: спешим куда-то! Ах, бедный наш полк! Чтоб прогнать сон, меня одолевающий, я встаю с лошади и иду пешком; но силы мои так изнурены, что я спешу опять сесть на лошадь и с трудом поднимаюсь на седло. Жажда палит мою внутренность; воды нет нигде, исключая канав по бокам дороги; я сошла опять с лошади и с величайшим неудобством достала на самом дне канавы отвратительной воды, теплой и зеленой; я набрала ее в бутылку и, сев с этим сокровищем на лошадь, везла еще верст пять, держа бутылку перед собою на седле, не имея решимости ни выпить, ни бросить эту гадость; но чего не делает необходимость! я кончила тем, что выпила адскую влагу…

Если б я имела миллионы, отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в совершенном изнеможении. Все мои чувства жаждут успокоения… Мне вздумалось взглянуть на

себя в светлую полосу своей сабли: лицо у меня бледно, как полотно, и глаза потухли! С другими нет такой сильной перемены, и, верно, оттого, что они умеют спать на лошадях; я не могу.

<…> В ту ночь Подъямпольский бранил меня и Сезара за то, что люди наших взводов дремлют, качаются в седле и роняют каски с голов. На другой день после этого выговора мы увидели его самого едущего с закрытыми глазами и весьма крепко спящего на своем шагистом коне; утешаясь этим зрелищем, мы поехали рядом, чтобы увидеть, чем это кончится; но Сезар хотел непременно отомстить ему за выговор: он пришпорил свою лошадь и проскакал мимо Подъямпольского; конь его бросился со всех ног, и мы имели удовольствие видеть испуг и торопливость, с какою Подъямпольский спешил подобрать повода, выпавшие из рук его.

Непостижимый дух раздора овладел мною и Сезаром! Начинаем всегда тем, что выедем вперед эскадрона, разговариваем прежде очень дружелюбно, после начинаем спорить и наконец, наговорив друг другу вежливых колкостей, разъезжаемся к краям дороги. В одну из этих вылазок мы отъехали ко рвам по сторонам дороги, сошли с лошадей и легли; но, к счастию, не заснули еще, как эскадрон подошел; Подъямпольский, полагавший, что мы при своих взводах, удивился и рассердился, увидя нас спокойно расположившихся у рвов близ дороги. «Не стыдно ли вам, господа! – говорил он, – вместо того, чтобы смотреть за своими солдатами, чтоб не спали, не падали, не роняли касок, не портили лошадей, вы уехали вперед и легли спать на дороге!..» Подстрекаемые тем же духом раздора, который вооружал нас друг против друга, мы отвечали ему, что не прошло еще и двух дней, как он сам испытал и доказал, что теперешние трудности превышают силы человека! Подъямпольский, не возражая ничего, приказал только нам быть непременно при своих местах и людях. «Мы обязаны подавать им пример, – прибавил он ласково, – им легче будет переносить всякий труд, если они увидят, что офицеры их переносят его наравне с ними; никогда солдат не осмелится роптать ни на какую невыгоду, если офицер его разделяет ее с ним…» Я почувствовала справедливость слов Подъямпольского и приняла твердое намерение всегда ими руководствоваться.

Наконец дали нам отдых. С каким неописанным удовольствием разостлала я свою шинель на сено, легла и в ту же минуту заснула. Думаю, что я спала часов десять, потому что солнце уже садилось, когда я выползла из своего шалаша, в буквальном смысле выползла, для того что отверстие, служащее дверью, было немного выше полуаршина. Глазам моим представилась живая и прекрасная картина: толпы офицеров уланских, гусарских, кирасирских ходили по всему лагерю; солдаты варили кашу, чистили амуницию; ординарцы, адъютанты скакали то там, то здесь; прекрасная музыка нашего полка гремела и восхищала бесчисленное множество всех полков офицеров, пришедших слушать ее.

<…> Полк наш расположен близ цепи холмов, довольно высоких; когда наступила ночь, зажглись бесчисленные огни бивачные, раздался шум, говор солдат, топот, ржание лошадей. Я рассматривала с полчаса эту шумную, одушевленную сцену и наконец, сама не знаю для чего, перешла на другую сторону холмов; спустясь в долину, я не слыхала уже ни малейшего шуму, как будто солдат, войны, армии не существовало никогда на свете! Я взошла опять на холмы, посмотрела несколько времени на картину кипящей деятельности, беспрерывной суеты и движения и снова погрузилась в тишину и спокойствие долины! Этот скорый переход от величайшего шума к совершенному безмолвию делает на душу мою какое-то впечатление, которого я, однако ж, ни понять, ни описать не могу.

Близ Смоленска объявили нам Государев манифест, в котором было сказано, что «государь не удерживает более нашего мужества и дает свободу отмстить неприятелю за скуку противувольного отступления, до сего времени необходимого». Солдаты наши прыгали от

радости, и взоры всех пылали мужеством и удовольствием. «Наконец! – говорили офицеры, – теперь будет наша очередь догонять!»

Смоленск. Я опять слышу грозный, величественный гул пушек! Опять вижу блеск штыков! Первый год моей воинственной жизни воскресает в памяти моей!.. Нет! трус не имеет души! Иначе как мог бы он видеть, слышать все это и не пламенеть мужеством! Часа два дожидались мы приказания под стенами крепости Смоленской; наконец велено нам идти на неприятеля. Жители города, видя нас проходящих в порядке, устройстве, с геройскою осанкою и уверенностию в своих силах, провожали нас радостными восклицаниями; некоторые, а особливо старики, беспрерывно повторяли: помоги Бог! помоги Бог! каким-то необыкновенно торжественным голосом, который заставлял меня содрогаться и приводил в умиление…

Полк наш помещен по обеим сторонам дороги. <…> Место, нам доставшееся, так неудобно для оборотов кавалерии, что при первом натиске неприятеля мы не удержим его за собою; все это поле изрыто, усеяно мелкими кустами и перерезано рытвинами так, что при каждом быстром движении эскадронам пришлось бы перескакивать на каждом шагу или ров, или куст, или яму. Так как здесь брали глину для кирпичей, то ям было бесчисленное множество, и, сверх того, все они были полны дождевой воды. Нам велено было удерживать неприятеля. Итак, чтоб завязать дело. Подъямпольский, выстроив эскадрон в боевой порядок, велел выехать фланкерам. «Кому из вас, господа, угодно взять над ними начальство?» – спросил нас ротмистр. Старший Торнези сейчас вызвался; он и человек двадцать лучших наездников пустились на неприятеля. Через час они возвратились все, исключая Торнези, которого французы изрубили; говорят, что он в запальчивости занесся в толпу их, и, сколько они ему ни кричали rendez vous! rendez vous! (сдавайтесь! сдавайтесь! – *фр.*) он, не слушая, рубил их направо и налево, и наконец они с остервенением кинулись на него, и вмиг его не стало. <…> Множество сабель засверкало над несчастным Торнези, и он упал к ногам своей лошади без жизни и образа.

Мы все смотрели очень внимательно на правую сторону дороги, где происходило уже сражение, и некоторые из наших эскадронов отлично дрались; дорого заплатили бы мы за это зевание по сторонам, если б наш священник Вартминский, самый неустрашимый человек изо всего полка, не подъехал к нам и не указал в левую сторону своею нагайкою (единственным оружием, которое он равно употреблял для лошадей и для неприятеля). Взглянув, куда он указывал, мы увидели скачущую к нам во фланг неприятельскую кавалерию; в одно мгновение Подъямпольский скомандовал: «Второму полуэскадрону правое плечо вперед» – и, поставя его к неприятелю лицом, приказал мне взять начальство и в ту ж минуту ударить на несущуюся к нам конницу. Восхитительная минута для меня! Я уже не помнила постыдного бегства улан моих с пикета, видела только возможность прославиться… Но вдруг команда моя «с места, марш, марш» слилась с громовым голосом нашего начальника, раздавшимся позади нашего фронта: «назад! назад!..» В одну секунду мой полуэскадрон повернулся назад и поскакал сломя голову на большую дорогу; я осталась позади всех. Без порядка скакал эскадрон густой толпою по кустам, буграм и рытвинам; Зелант, горячий, заносчивый конь мой, рвался из-под меня, но я не смела дать ему воли; он имел дурную привычку, разгорячась, драть голову кверху, и мне предстоял весьма трудный выбор: дать волю Зеланту и тотчас упасть с ним в яму или полететь стремглав через куст или, придерживая его, быть догнанной неприятелем, летящим по следам нашим. Я выбрала последнее как более безопасное: посредственность французской кавалерии давно была мне известна, и я могла быть уверена, что в целом отряде, который гнался за нами, ни одна лошадь не равнялась Зеланту в быстроте; итак, удерживая коня своего, неслась я большим галопом вслед скачущего эскадрона; но, слыша близко за собою топот лошадей и увлекаясь невольным любопытством, не могла не оглянуться; любопытство мое было вполне награждено: я увидела скачущих за мною на

аршин только от крестца моей лошади трех или четырех неприятельских драгун, старавшихся достать меня палашами в спину. При этом виде я, хотя не прибавила скорости моего бега, но, сама не знаю для чего, закинула саблю на спину острием вверх. Миновав бугры и ямы, Зелант, как бурный вихрь, унес меня от толпы неприятельской. Выбравшись на ровное место, мы отплатили неприятелю за свое беспорядочное бегство: повинуясь голосу офицеров, эскадрон в минуту пришел в порядок, построился и грозною тучею понесся навстречу неприятелю. Земля застонала под копытами ретивых коней, ветер свистал в флюгерах пик наших; казалось, смерть со всеми ее ужасами неслась впереди фронта храбрых улан. Неприятель не вынес этого вида и, желая уйти, был догнан, разбит, рассеян и прогнан несравненно с большим уроном, нежели был наш, когда мы приневолены были отступать во весь дух через бугры и рытвины.

Теперь эскадрон наш поставили на правой стороне дороги, а бугристое поле занято егерями. «Давно бы так!» – говорит Подъямпольский, покручивая усы с досадою… Мы здесь должны охранять крепость, итак, стоим без дела, но в готовности, то есть на лошадях и пики наперевес. Впереди нас стрелки Бутырского полка перестреливаются с неприятельскими. Храбрый, отличный полк! Как только он начал действовать, в ту ж минуту пули неприятельские перестали долетать до нас.

На этом месте мы будем до завтра. Бутырский полк сменен другим, и теперь пули не только долетают до нас, но и ранят. Подъямпольскому это очень неприятно. Наконец, наскуча видеть, что у нас то того, то другого отводили за фронт, он послал меня в Смоленск к Штакельбергу сказать о критическом положении нашем и спросить, что он прикажет делать? Я исполнила, как было велено, сказала Штакельбергу, что у нас много ранено людей, и спросила, какое будет его приказание? «Стоять, – отвечал Штакельберг, – стоять, не трогаясь ни на шаг с места. Странно, что Подъямпольский присылает об этом спрашивать!» Я с великим удовольствием повезла этот прекрасный ответ своему ротмистру. «Что, – кричал мне издали Подъямпольский, – что велело?» – «Стоять, ротмистр!» – «Ну, стоять так стоять», – сказал он покойно; и, оборотясь к фронту с тем неустрашимым видом, который так ему свойственен, хотел было несколько ободрить солдат, но, к удовольствию своему, увидел, что они не имеют в этом нужды: взоры и лица храбрых улан были веселы; недавняя победа одушевила черты их геройством. Весь их вид говорит: беда неприятелю! К вечеру второй полуэскадрон спешился, и я, имея тогда свободу отойти от своего места, пошла к ротмистру спрашивать о всем том, что в этот день казалось мне непонятным. Подъямпольский стоял у дерева, подперши голову рукою, и смотрел без всякого участия на перестрелку; приметно было, что мысль его не здесь. «Скажите мне, ротмистр, для чего вы посылали к Штакельбергу меня, а не унтер-офицера? Не правда ли, что вы хотели укрыть меня от пуль?» – «Правда, – отвечал задумчиво Подъямпольский, – ты так еще молод, так невинно смотришь и среди этих страшных сцен так весел и беспечен! Я видел, как ты скакал позади всего эскадрона во время беспорядочного бегства нашего от кирпичных сараев, и мне казалось, что я вижу барашка, за которым гонится стая волков. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видеть тебя убитым. Не знаю, Александров, отчего мне кажется, что если тебя убьют, то это будет убийство противное законам; дай бог, чтоб я не был этому свидетелем! Ах, пуля не разбирает. Она пробивает равно как грудь старого воина, так и сердце цветущего юноши!..» Меня удивило такое грустное расположение духа моего ротмистра и необыкновенное участие во мне, какого прежде я не замечала; но, вспомня, что у него брат, нежно им любимый, остался в Мариупольском полку один, предоставленный произволу судьбы и собственного разума, нашла весьма натуральным, что мой вид незрелого юноши и опасности войны привели ему на память брата, детский возраст его и положение, в каком он может случиться при столь жаркой войне. Наступила ночь; второй полуэскадрон сел на лошадей, а первый спешился; пальба ружейная прекратилась. Я просила ротмистра позволить мне не садиться на лошадь;

он согласился, и мы продолжали разговаривать. «Объясните мне, ротмистр, отчего у нас так много ранят офицеров? Рядовых такая густая масса; их более и удобнее было бы убивать; разве в офицеров нарочно метят?» – «Разумеется, – отвечал Подъямпольский, – это самый действительный способ расстроить и ослабить силы неприятеля». – «Почему ж?» – «Как почему! потому что один храбрый и знающий офицер более сделает вреда неприятелю своими сведениями, проницанием, уменьем пользоваться и выгодами местоположения и ошибками противной стороны, а особливо офицер, одаренный тем высоким чувством чести, которое заставляет встречать бестрепетно смерть и спокойно действовать в величайших опасностях; такой офицер, повторяю, один более сделает вреда неприятелю, нежели тысяча солдат, никем не начальствуемых…» Разговор наш продолжался часа два все в этом же смысле; я слушала со вниманием суждения и замечания Подъямпольского, лучшего офицера в полку нашем, храброго, опытного, строгого к себе столько же, как и к другим. Очередь сойти с лошадей второму полуэскадрону прекратила беседу нашу; ротмистр сел на лошадь, а мне сказал, что теперь я могу, если хочу, заснуть полчаса. Я не заставила повторить этого два раза, но тотчас воспользовалась позволением и, закутавшись солдатским плащом, легла под деревом, положа голову на корни его. На рассвете сквозь тонкий сон слышала я, что по каске моей что-то щелкало; проснувшись совсем, я открыла голову и увидела стоящих недалеко от меня подполковника Лопатина и Подъямпольского; они о чем-то разговаривали, смотря и по временам указывая в сторону неприятельских стрелков; стыдясь, что нашли меня спящею, я спешила встать; и в это самое время пуля на излете ударила по каске моей, а тем объяснились и первые щелчки; я собрала лежащие близ меня пули и понесла их показать ротмистру. «Ну так что ж! – сказал он, рассмеявшись, – неужели тебе и это в диковинку?» – «А как же! ведь они не докатились, а долетели, почему ж не ранили меня?» – «Не имели силы. Полно, однако ж, садись на лошадь, нас сейчас сменят!» Драгунский эскадрон пришел стать на наше место, а мы вошли в крепость и у стен ее расположились отдыхать. Смоленск уступили неприятелю!.. Ночью уже ариергард наш взошел на высоты за рекою. Раевский с сожалением смотрел на пылающий город. Кто-то из толпы окружавших его офицеров вздумал вскликнуть: «Какая прекрасная картина!..» – «Особливо для Энгельгардта, – подхватил который-то из адъютантов генерала, – у него здесь горят два дома!»

Мы всё отступаем! Для чего ж было читать нам, что государь не удерживает более нашего мужества! Кажется, не слишком большому опыту подвергли нашу храбрость. Как вижу, мы отступаем в глубь России. Худо будет нам, если неприятель останется в Смоленске! Одна только безмерная самонадеянность Наполеона обеспечивает в возможности заманить его далее. Все это, однако ж, выше моего понятия. Неужели нельзя было встретить и разбить неприятеля еще при границах государства нашего? К чему такие опасные маневры? Для чего вести врага так далеко в средину земли своей?.. Может быть, это делается с прекрасною целью; однако ж, пока достигнут ее или разгадают, войско может потерять дух; и теперь уже со всех сторон слышны заключения и догадки, одни других печальнее и нелепее.

По очереди пришлось мне быть на ординарцах у Коновницына. Генерал этот очень любит находиться как можно ближе к неприятелю и, кажется, за ничто считает какие б то ни было опасности; по крайней мере, он так же спокоен среди битв, как и у себя в комнате. Здесь завязалось небольшое сражение. Генерал подъехал к передовой линии; но как свита его тотчас привлекла внимание и выстрелы неприятеля, то он приказал нам разъехаться. Не знаю почему, мы не скоро послушались его, и в это время ранили под ним лошадь. Неприятель сосредоточил на нашей группе свои выстрелы, что и заставило Коновницына отъехать немного далее от линии фланкеров. Когда мы повернулись все за ним, то мой досадный Зелант, имея большой шаг, неприметно вышел вперед генеральской лошади. Коновницын, увидя это, спросил меня очень строго: «Куда вы, господин офицер? Разве не знаете, что вам

должно ехать за мною, а не впереди?» Со стыдом и досадою осадила я свою лошадь. Генерал, верно, подумал, что это страх заставил меня прибавить шагу!..

Коновницыну надобно было послать на левый фланг к графу Сиверсу узнать, что в случае отступления безопасны ли и удобны ли дороги для его ретирады, довольно ли с ним войска и не нужно ли будет ему подкрепления? Для принятия этого поручения явилась я. «Ох, нет! – сказал Коновницын, взглянув на меня, – вы слишком молоды, вам нельзя этого поручить: пошлите кого постарее». Я покраснела: «Не угодно ли вашему превосходительству испытать; может быть, я в состоянии буду понять и исполнить ваши приказания». – «А… очень хорошо! извините меня», – сказал Коновницын торопливо и вежливым тоном; он отдал мне свои приказания, прибавя, чтоб я как можно скорее ехала. Не успела я скрыться у него из виду, как он, тревожимый недоверчивостью, послал другого ординарца по следам моим с тем же самым приказанием, и это было действием видимого покровительства Божия, потому что неприятель занял уже те места, через которые проехала я к Сиверсу. Возвращаясь, я встретилась с посланным офицером, от которого и узнала, что там, где прежде ехала, находятся уже неприятельские стрелки. Приехав к Коновницыну, я рассказала ему со всею подробностию о положении отряда Сиверса, о путях, переправах, средствах, одним словом, обо всем, что мне велено было узнать. Коновницын, выслушав мое донесение, расхвалил меня, попросил извинения в том, что усомнился было дать мне поручение по причине моей молодости, и, видно, желая загладить это, посылал уже везде одну меня через целый день, говоря при каждом поручении: «Вы исправнее других». Носясь весь день по полям от одного полка к другому, я измучилась, устала, смертельно проголодалась и совсем уже не рада стала приобретенной славе исправного ординарца. Бедный Зелант сделался похож на борзую собаку.

Солнце уже закатилось, когда мы стали на лагерь. Я только что успела сойти с лошади, как должна была опять сесть на нее: Подъямпольский сказал, что мне очередь ехать за сеном для целого полка. «Вот тебе десять человек от моего эскадрона; сейчас прибудут остальные, отправляйся с Богом! Да нельзя ли, – прибавил он вполголоса, – достать что-нибудь съесть: гуся, курицу; сколько уже дней все один хлеб: до смерти наскучило!..» Пятьдесят человек улан явились под начальство мое, и я поехала с ними по первой, какая попалась, дороге отыскивать сенокос, потому что в это время года начинают уже косить. Ночь была очень тепла, но и очень темна: месяц не светил. Отъехав верст шесть от лагеря, мы увидели в полуверсте от нас деревню и в три минуты были уже в ней, потому что, обрадовавшись такой скорой находке, пустились туда рысью. К деревне примыкал обширный луг; виднелась речка, за нею несколько мелких перелесков. Приказав уланам идти с лошадьми на луг, я осталась одна в покинутой деревне и, привязав лошадь, пошла осматривать опустевшие жилища. Что-то было страшно видеть все двери отворенными; везде царствовал мрак, тишина и запустение; ничто не было заперто: конюшни, сараи, анбары, кладовые и дома, все было растворено! На дворе, однако ж, ходили, лежали, стояли коровы, овцы и сидели гуси стадами: бедные гуси! вид их припомнил мне просьбу Подъямпольского! припомнил, что одному из них непременно надобно будет умереть! Ах, как мне стыдно писать это! Как стыдно признаваться в таком бесчеловечии! Благородною саблей своей я срубила голову неповинной птицы!! Это была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь. Хотя это кровь птицы, но поверьте, вы, которые будете когда-нибудь читать мои Записки, что воспоминание о ней тяготит мою совесть!.. Через час уланы мои возвратились, ведя за собою лошадей своих, навьюченных сеном. «Не слишком ли тяжело вы навьючили их?» – спросила я, видя, что по бокам лошадей висели огромнейшие связки сена. «Нет, ваше благородие! ведь сено легко!» Я поверила, вовсе не подозревая, что тут кроется тяжесть мне неизвестная и что для этого нарочно навязаны такие ужасные горы сена. Я села на лошадь, велела взять мертвого гуся и поехала впереди своего отряда, который шел пешком, ведя лошадей своих в поводу. Мы уже прошли

большую половину своей дороги и были верстах в двух от лагеря, как вдруг прискакал улан: «Поспешите, ваше благородие, полк скоро пойдет». Я велела людям идти так скоро, как они могут; они побежали; натурально, что и лошади пошли рысью; я очень удивилась, увидя, что в отряде моем то там, то сям падают с лошадей бараны. Я не имела времени спросить, для чего они столько набрали их, как другой улан прискакал с приказанием от полка бросить сено и спешить к полку; я приказала оставить все, и сено, и баранов, и моего гуся на месте, сесть на лошадей и рысью возвращаться в полк; мы догнали его уже на марше. «Что это значит, ротмистр, что полк так скоро пошел?» – «Вот странный вопрос, что значит! велено, так и пошли; мы не прогуливаемся, теперь война!» Я замолчала. Ротмистр был не в духе, и, верно, оттого, что голоден. Я тоже голодна и, сверх того, нисколько не спала эту ночь.

У нас новый главнокомандующий: Кутузов!.. Это услышала я, стоя в кругу ординарцев, адъютантов и многих других офицеров, толпящихся около разведенного огня. Гусарский генерал Дорохов говорил, поглаживая седые усы свои: «Дай бог, чтоб Михаило Ларионович поскорее приехал и остановил нас; мы разбежались, как под гору».

Кутузов приехал!.. солдаты, офицеры, генералы – все в восхищении; спокойствие и уверенность заступили место опасений; весь наш стан кипит и дышит мужеством!..

Холодный, пронзительный ветер леденит тело мое. Шинель моя не только что не на вате, но и ни на чем; под нею нет подкладки. Уланский колет мой подложен тафтою, и в нем состоит вся моя защита против ветра, столько же холодного, как зимою.

Бородино. Вечером вся наша армия расположилась биваками близ села Бородино. Кутузов хочет дать сражение, которого так давно все желают и ожидают. Наш полк, по обыкновению, занимает передовую линию. В эту ночь я сколько ни свертывалась, сколько ни куталась в шинель, но не могла ни согреться, ни заснуть. Шалаш наш был сделан à jour (на один день, временный – *фр.*), и ветер свистал сквозь него, как сквозь разбитое окно. Товарищи мои, которых шинели теплы, спят покойно: охотно бы легла я у огня, но его нет и не разводили.

24-го августа. Ветер не унялся! на рассвете грозно загрохотала вестовая пушка. Гул ее несся, катился и переливался по всему пространству, занятому войском нашим. Обрадовавшись дню, я тотчас оставила беспокойный ночлег свой! Еще не совсем замолк гул пушечного выстрела, как все уже было на ногах! Через четверть часа все пришло в движение, все готовится к бою! Французы идут к нам густыми колоннами. Все поле почернело, закрывшись несметным их множеством.

26-го. Адский день! Я едва не оглохла от дикого, неумолкного рева обеих артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и, как град, осыпали нас, не обращали на себя ничьего внимания; даже и тех, кого ранили, и они не слыхали их: до них ли было нам!.. Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку, чем я была очень недовольна: у меня нет перчаток, и руки мои так окоченели от холодного ветра, что пальцы едва сгибаются; когда мы стоим на месте, я кладу саблю в ножны и прячу руки в рукава шинели: но, когда велят идти в атаку, надобно вынуть саблю и держать ее голою рукой на ветру и холоде. Я всегда была очень чувствительна к холоду и вообще ко всякой телесной боли; теперь, перенося днем и ночью жестокость северного ветра, которому подвержена беззащитно, чувствую, что мужество мое уже не то, что было с начала кампании. Хотя нет робости в душе моей, и цвет лица моего ни разу не изменялся, я покойна, но обрадовалась бы, однако ж, если бы перестали сражаться.

Ах, если б я могла согреться и опять почувствовать, что у меня есть руки и ноги! Теперь я их не слышу.

Желание мое исполнилось; нужды нет, каким образом, но только исполнилось; я не сражаюсь, согрелась и чувствую, что у меня есть руки и ноги, а особливо левая нога очень ощутительно дает мне знать, что я имею ее; она распухла, почернела и ломит нестерпимо:

я получила контузию от ядра. Вахмистр не допустил меня упасть с лошади, поддержал и отвел за фронт. Несмотря на столько битв, в которых была, я не имела никакого понятия о контузии; мне казалось, что получить ее не значит быть ранену, и потому, не видя крови на колене своем, воротилась я к своему месту. Подъямпольский, оглянувшись и видя, что я стою перед фронтом, спросил с удивлением: «Зачем ты воротился?» – «Я не ранен», – отвечала я. Ротмистр, полагая, что меня ударила пуля на излете, успокоился, и мы продолжали стоять и выдерживать огонь до самой ночи. Тогда неприятель зачал освещать нас светлыми ядрами, живописно скачущими мимо нашего фронта; наконец и эта забава кончилась, все затихло. Полк наш отступил несколько назад и спешился; но эскадрон Подъямпольского остался на лошадях. Я не в силах была выдерживать долее мучений, претерпеваемых мною от лома в ноге, от холода, оледенявшего кровь мою, и от жестокой боли всех членов (думаю, оттого, что во весь день ни на минуту не сходила с лошади). Я сказала Подъямпольскому, что не могу более держаться на седле, и что если он позволит, то я поеду в вагенбург, где штаб-лекарь Карнилович посмотрит, что делается с моею ногой; ротмистр позволил. Наконец пришло то время, что я сама охотно поехала в вагенбург! В вагенбург, столько прежде презираемый! Поехала, не быв жестоко раненною!.. Что может храбрость против холода!!

Оставя эскадрон, пустилась я, в сопровождении одного улана, по дороге к вагенбургу, едва удерживаясь от болезненного стона. Но я не могла ехать далее Бородина и остановилась в этом селении; оно из конца в конец было наполнено ранеными. Ища бесполезно избы, куда б меня пустили, и получая везде отказ, решилась я войти и занять место, не спрашивая согласия; отворив дверь одной обширной и темной, как могила, избы крестьянской, была я встречена двадцатью голосами, болезненно кричащими ко мне из глубины этого мрака: «Кто там! Зачем? Затвори двери! Что тебе надобно? Кто такой пришел…» Я отвечала, что я уланский офицер, ранен, не могу найти квартиры и прошу их позволить мне переночевать здесь. «Нельзя, нельзя! – закричало вдруг несколько голосов, – здесь раненый полковник, и нам самим тесно!» – «Ну, так раненый полковник должен по себе знать, что в таком положении трудно искать квартиры, и как бы ни было вам тесно, но вы должны были бы предложить мне остаться между вами, а не выгонять». На эту проповедь отвечал мне кто-то отрывисто: «Ну, пожалуй, оставайтесь, вам негде будет лечь». – «Это уже моя забота», – сказала я и, обрадовавшись, что наконец вижу себя в тепле, взлезла на печь и легла на краю не только что во всем вооружении, но даже не снимая и каски. Члены мои начали оттаивать и боль утихать; одна только ушибленная нога была тяжела, как бревно: я не могла пошевелить ее без боли. Изнуренная холодом, голодом, усталостию и болью, я в одну минуту погрузилась в глубочайший сон. На рассвете, видно, я хотела повернуться на другую сторону, но как спала на краю печи, то сабля моя от этого движения свесилась и загремела; все проснулись и все кричали: «Кто тут! Кто ходит!» Голос их показывал сильный испуг; один из них прекратил эту тревогу, напомня товарищам обо мне, выражаясь весьма обязательно: «Это возится тот улан, вот что с вечера еще черт принес к нам». После того они опять все заснули, но я уже не спала; нога моя жестоко болела, и, вместо вчерашнего озноба, во мне был сильный жар. Я встала и, рассмотрев сквозь трещины ставня, что заря уже занималась, отворила дверь, чтоб выйти и оставить гостеприимный кров, под которым провела ночь; у самого порога стоял мой улан с обеими лошадьми; терзательная боль, когда надобно было стать и опереться левою ногой на стремя, выжала невольные слезы из глаз моих. Отъехав с полверсты, я хотела уже сойти с лошади и лечь в поле, отдавшись на волю судьбы: нога моя затекла и причиняла мне боль невыносимую! К счастию, улан мой увидел вдали телегу; на ней лежала пустая бочка, в которой отвозили вино в армию; сейчас он поскакал и привел эту телегу ко мне; пустую бочку сбросили, а я заняла ее место и легла на ту солому, на которой она лежала. Улан повел моего Зеланта в поводу, и таким образом прибыла я в вагенбург, где нашла доброго приятеля своего полкового казначея Бурого, и теперь сижу в его теплом шалаше, в его тулупе; в руках

у меня стакан горячего чаю; нога обвязана бинтами, намоченными спиртом; надеюсь, что и это поможет за неимением лучших средств. Карниловича нет здесь, он при полку.

Я совершенно оправилась! Хороший суп, чай и теплота возвратили членам моим силу и гибкость; все забыто, как сон, хотя нога и болит еще. Но что об ней думать! К тому ж, право, мне кажется, что моя контузия из всех контузий самая легкая.

Проведя два дня в шалаше Бурого, я спешила возвратиться в полк; мне дано отвесть туда небольшой отряд, состоящий из двадцати четырех улан, для укомплектования эскадрона.

Мы отступаем к Москве и теперь уже в десяти верстах от нее. Я просила Штакельберга позволить мне съездить в Москву, чтоб заказать сшить теплую куртку; получа позволение, я отдала свою лошадь улану и отправилась на паре едва дышащих кляч, нанятых в селении. Я хотела было остановиться в Кремле у Митрофанова, искреннего друга и сослуживца отца моего, но узнала, что он куда-то уехал. Пока я доспросилась о нем, должна была заходить ко многим жильцам обширного дома, в котором были и его комнаты. Один из этих набегов произведен на горницы молодой купчихи; она, увидя меня отворяющую дверь ее, тотчас стала говорить: «Пожалуйте, пожалуйте, батюшка господин офицер! прошу покорно, садитесь, сделайте милость; вы хромаете, конечно, ранены? Не прикажете ли чаю? Катенька, подай скорее». Говоря все это, она усаживала меня на диване, а Катенька, миленькая четырнадцатилетняя девочка, во всем блеске купеческой красоты, стояла уже передо мною с чашкою чаю. «Что, батюшка, супостат наш далеко ли? Говорят, он идет в Москву». Я отвечала, что его не пустят в Москву. «Ах, дай-то Бог! Куда мы денемся тогда? Говорят, он всех принуждает к своей вере». Что мне было отвечать им на такие вопросы? Малютка тоже отозвалась своим тоненьким голосом: «Слышно, что они всех пленных клеймят против сердца», – говоря это, она указывала на свое собственное сердце. «Это легко может быть, – отвечала я, – об этом что-то и я слышал». Они приступили было ко мне с расспросами, но я встала, сказав, что должен спешить к своему месту. «Итак, Господь с вами, батюшка», – говорили обе сестры, провожая меня по переходам к лестнице. Куртку мне сшили, я надела ее и хотела сейчас выехать из города; но это не так-то легко было сделать: неприятель близко, многие извощики оставили Москву, и те из них, которые были еще тут, просили с меня пятьдесят рублей, чтоб довезть до главной квартиры; но как у меня нет и одного, не только пятидесяти, то я отправляюсь пешком. Прошед версты три по мостовой, я принуждена была лечь на землю, как только вышла за заставу: нога моя снова стала болеть и пухнуть, и я не могла уже ступить на нее. К моему счастию, проезжала мимо какая-то фура, нагруженная седлами, потниками, манерками, ранцами и всяким другим военным дрязгом; при ней был офицер. Я просила его взять меня на эту фуру; сначала он не соглашался, говоря, что ему нельзя ничего из тех вещей сбросить и некуда посадить меня; но, представя ему, что не только офицер, но и простой солдат дороже государю двадцати таких фур, я убедила его дать мне место. У Главной Квартиры я встала, поблагодарила офицера и пошла, прихрамывая, искать Шварца, чтоб попросить у него какую-нибудь лошадь; моя осталась в полку. Я отыскала Шварца в квартире графа Сиверса. После Бородинского дела мы не видались; он очень удивился, увидя меня, и спросил, для чего я не при полку? Я рассказала ему о контузии, о боли, о Москве, о куртке, прибавя ко всему этому, что желала бы как можно скорее возвратиться к полку и что для этого мне нужна лошадь. Шварц дал мне казачью лошадь с тонкою вытянутою шеей, безобразную, оседланную гадким седлом с огромной подушкой. На этом коне, не имевшем и в доброе свое время ни огня, ни быстроты, приехала я в полк. Горя нетерпением сесть на своего бодрого и гордого Зеланта, я узнала, к величайшей досаде моей, что он отправлен с заводными лошадьми верст за пять в деревню.

Перешед Москву, мы остановились верстах в двух или трех от нее; армия пошла дальше.

Через несколько времени древняя столица наша запылала во многих местах! Французы вовсе нерасчетливы. Зачем они жгут наш прекрасный город? свои великолепные квартиры, так дорого ими нанятые? Странные люди!.. Мы все с сожалением смотрели, как пожар усиливался и как почти половина неба покрылась ярким заревом. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение; солдаты как будто испуганы; иногда вырываются у них слова: лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву! Разумеется, они говорят это друг другу вполголоса, а в таком случае офицер не обязан этого слышать.

Полк наш примыкал левым флангом к какой-то деревушке; в ней не было уже ни одного человека. Я спросила ротмистра, долго ли мы тут будем стоять? «Кто ж это знает, – отвечал он, – огней не велено разводить, так, видно, надобно быть наготове каждую минуту. А тебе на что это знать?» – «Так; я пошел бы в крайний дом лечь спать ненадолго; у меня очень болит нога». – «Поди; пусть унтер-офицер постоит у избы с твоей лошадью; когда полк тронется с места, то он разбудит тебя». Я проворно побежала в дом; вошла в избу и, видя, что пол и лавки выломаны, не нашла лучшего места, как печь; я влезла на нее и легла с краю; печь была тепла, видно, ее недавно топили; в избе было довольно темно от притворенных ставень. Теплота и темнота! какие два благословенные удобства! Я тотчас заснула. Думаю, что спала не более получаса, потому что скоро проснулась от повторенных восклицаний: «Ваше благородие! ваше благородие! полк ушел! неприятель в деревне!!» Проснувшись, я спешила встать и, стараясь опереться левою рукой, почувствовала под нею что-то мягкое; я обернулась посмотреть, и как было темно, то наклонилась очень близко к предмету, в который уперлась рукою; это был мертвый человек и, кажется, ополчанин; не знаю, легла ли бы я на печь, если б увидела прежде этого соседа, но теперь я и не подумала испугаться. Каких странных встреч не случится в жизни, особливо в теперешней войне! Оставя безмолвного обитателя хижины спать сном беспробудным, я вышла на улицу; французы были уже в деревне и стреляли кой на кого из наших. Я поспешила сесть на свою лошадь и рысью догнала полк.

Штекельберг послал меня за сеном для полковых лошадей, и я волею или неволею, но должна была ехать на лошади упрямой, ленивой и безобразной, как осел; пустя вперед свою команду, ехала я за нею, размышляя о неприятном положении своем. Стыд и беда с таким конем ожидают меня в первом деле: на неприятеля он не пойдет, от неприятеля не унесет. «Вот здесь наши заводные!» – сказал один из улан своему товарищу, указывая на ближнее селение; оно было в версте от дороги, по которой я вела свой отряд. Мысль, что могу достать свою лошадь, осветила мой ум, успокоила и разогнала все мрачные помыслы; я поручила унтер-офицеру вести шагом отряд к ближнему лесу, а сама не поскакала уже, но потряслась как могла скорее к селу, где надеялась найти наших заводных.

Судьба ожесточилась против меня: я не нашла здесь своей лошади; здесь не нашего полка заводные; уланские далее еще верстах в трех от селения.

Несчастный голодный осел, на котором я сижу и терзаюсь досадою, какую только можно себе представить, не хочет идти иначе как шагом и то с величайшею ленью. Мучительнее этого состояния я еще не испытывала. Если б мне отдали на выбор: быть ли еще на двух Бородинских сражениях или два дня только иметь под собою эту верховую лошадь, сию минуту избираю первое, не колеблясь ни секунды.

Я отыскала и взяла своего Зеланта; но как дорого мне это стоило! Решась во что бы то ни стало избавиться от неприятного положения своего, принудила я шпорами и саблею бедную лошадь довезти меня рысью до второго селения, и тут, к восхищению моему, первый предмет, который мне представился, был Зелант! Пересев на него, полетела я, как стрела, к тому лесу, куда велела ехать своему отряду; я надеялась отыскать его по следам, но множество дорог, идущих вправо, влево, поперек – и на всех бесчисленное множество конских следов, – привели меня в недоумение. Проехав версты три наудачу по дороге, которая пока-

залась мне шире других, приехала я к господскому дому прекрасной архитектуры. Цветник перед крыльцом, ведущим в сад, был весь истоптан лошадьми; по аллеям тянулись богатые кружева и блонды: следы грабительства видны были везде. Не встречая тут ни одного человека и не зная, как отыскать свою команду, решилась я возвратиться в полк. Штакельберг, увидя меня одну, спросил: «Где ж ваша команда?» Я откровенно рассказала, что, желая взять свою лошадь в ближнем селении, велела отряду идти шагом к лесу и там дождаться меня; но что, возвратясь, я не нашла их на назначенном месте и теперь не знаю, где они. «Как смели вы это сделать! – закричал Штакельберг. – Как смели оставить свою команду! Ни на секунду не должны вы были отлучаться от нее; теперь она пропала: лес этот занят уже неприятелем. Ступайте, сударь! сыщите мне людей, иначе я представлю на вас главнокомандующему, и вас расстреляют!..» Оглушенная этою выпалкой, поехала я опять к проклятому лесу, но там были уже неприятельские стрелки. «Куда ты едешь, Александров?» – спросил меня офицер лейб-эскадрона, находившийся в передней линии наших стрелков. Я отвечала, что Штакельберг прогнал меня искать моих фуражиров. «А ты ужели их потерял?» Я рассказала. «Это, братец, пустяки, фуражиры твои, верно, прошли безопасно окольными дорогами и теперь должны быть в селении, занятом заводными лошадьми нашего ариергарда; ступай туда». Я последовала его совету и, в самом деле, нашла своих людей с их вьюками сена в этом селе. На вопрос: для чего не дожидались меня, сказали, что, услыша скачку и пальбу в лесу, думали, что это неприятель, и, не желая вовсе быть взятыми в плен, уехали дальше, верст за восемь; нашли там сено, навьючили им лошадей и приехали ожидать меня здесь. Я отвела их в полк, представила Штакельбергу и поехала прямо к главнокомандующему.

Чувствуя себя жестоко оскорбленною угрозой Штакельберга, что меня расстреляют, я не хотела более оставаться под его начальством: не сходя с лошади, написала я карандашом к Подъямпольскому: «Уведомьте полковника Штакельберга, что, не имея охоты быть расстрелянным, я уезжаю к главнокомандующему, при котором постараюсь остаться в качестве его ординарца».

Приехав в главную квартиру, увидела я на одних воротах написанные мелом слова: Главнокомандующему; я встала с лошади и, вошед в сени, встретила какого-то адъютанта. «Главнокомандующий здесь?» – спросила я. «Здесь», – отвечал он вежливым и ласковым тоном; но в ту же минуту вид и голос адъютанта изменились, когда я сказала, что ищу квартиру Кутузова: «Не знаю; здесь нет, спросите там», – сказал он отрывисто, не глядя на ценя, и тотчас ушел. Я пошла далее и опять увидела на воротах: Главнокомандующему. На этот раз я была уже там, где хотела быть: в передней горнице находилось несколько адъютантов; я подошла к тому, чье лицо показалось мне лучше других; это был Дишканец: «Доложите обо мне главнокомандующему, я имею надобность до него». – «Какую? вы можете объявить ее через меня». – «Не могу, мне надобно, чтобы я говорил с ним сам и без свидетелей; не откажите мне в этом снисхождении», – прибавила я, вежливо кланяясь Дишканцу. Он тотчас пошел в комнату Кутузова и через минуту, отворяя дверь, сказал мне: «Пожалуйте» – и с этим вместе сам вышел опять в переднюю; я вошла и не только с должным уважением, но даже с чувством благоговения поклонилась седому герою, маститому старцу, великому полководцу. «Что тебе надобно, друг мой?» – спросил Кутузов, смотря на меня пристально. «Я желал бы иметь счастие быть вашим ординарцем во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости». – «Какая же причина такой необыкновенной просьбы, а еще более способа, каким предлагаете ее?» Я рассказала, что заставило меня принять эту решимость, и, увлекаясь воспоминанием незаслуженного оскорбления, говорила с чувством, жаром и в смелых выражениях; между прочим, я сказала, что, родясь и выросши в лагере, люблю военную службу со дня моего рождения, что посвятила ей жизнь мою навсегда, что готова пролить всю кровь свою, защищая пользы государя, которого чту, как Бога, и что, имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслуживаю быть угрожаема смертию…

Я остановилась, как от полноты чувств, так и от некоторого замешательства: я заметила, что при слове «храброго офицера» на лице главнокомандующего показалась легкая усмешка. Это заставило меня покраснеть; я угадала мысль его и, чтобы оправдаться, решилась сказать все. «В Прусскую кампанию, ваше высокопревосходительство, все мои начальники так много и так единодушно хвалили смелость мою, и даже сам Буксгевден назвал ее беспримерною, что после всего этого я считаю себя вправе назваться храбрым, не опасаясь быть сочтен за самохвала». – «В Прусскую кампанию! разве вы служили тогда? который вам год? Я полагал, что вы не старее шестнадцати лет». Я сказала, что мне двадцать третий год и что в Прусскую кампанию я служила в Коннопольском полку. «Как ваша фамилия?» – спросил поспешно главнокомандующий. «Александров!» Кутузов встал и обнял меня, говоря: «Как я рад, что имею наконец удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал об вас. Останьтесь у меня, если вам угодно; мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тягости трудов военных; что ж касается до угрозы расстрелять вас, – прибавил Кутузов, усмехаясь, – то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу; это были пустые слова, сказанные в досаде. Теперь подите к дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем». Я пошла было, но он опять позвал меня: «Вы хромаете? отчего это?» Я сказала, что в сражении под Бородином получила контузию от ядра. «Контузию от ядра! и вы не лечитесь! сейчас скажите доктору, чтобы осмотрел вашу ногу». Я отвечала, что контузия была очень легкая и что нога моя почти не болит. Говоря это, я лгала: нога моя болела жестоко и была вся багровая.

Теперь мы живем в Красной Пахре, в доме Салтыкова. Нам дали какой-то дощатый шалаш, в котором все мы (то есть ординарцы) жмемся и дрожим от холода. Здесь я нашла Шлеина, бывшего вместе со мною в Киеве на ординарцах у Милорадовича.

Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу, как осиновый лист!.. Меня посылают двадцать раз на день в разные места; на беду мою, Коновницын вспомнил, что я, будучи у него на ординарцах, оказалась отличнейшим из всех, тогда бывших при нем. «А, здравствуйте, старый знакомый», – сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим; и с того дня не было уже мне покоя. Куда только нужно было послать скорее, Коновницын кричал: «Уланского ординарца ко мне!» – и бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и от одного крыла армии к другому.

Наконец Кутузов велел позвать меня: «Ну что, – сказал он, взяв меня за руку, как только я вошла, – покойнее ли у меня, нежели в полку? Отдохнул ли ты? что твоя нога?» Я принуждена была сказать правду, что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день лихорадка и что я машинально только держусь на лошади по привычке, но что силы у меня нет и за пятилетнего ребенка. «Поезжай домой, – сказал главнокомандующий, смотря на меня с отеческим состраданием, – ты в самом деле похудел и ужасно бледен; поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно». При этом предложении сердце мое стеснилось. «Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию!» – сказала я печально. «Что ж делать! ты болен. Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай! теперь мы стоим без дела, может быть, и долго еще будем стоять здесь; в таком случае успеешь застать нас на месте». Я видела необходимость последовать совету Кутузова: ни одной недели не могла бы я долее выдерживать трудов военной жизни. «Позволите ли, ваше высокопревосходительство, привезть с собою брата? Ему уже четырнадцать лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим». – «Хорошо, привези, – сказал Кутузов. – Я возьму его к себе и буду ему вместо отца».

Через два дни после этого разговора Кутузов опять потребовал меня: «Вот подорожная и деньги на прогоны, – сказал он, подавая то и другое, – поезжай с Богом! Если в чем будешь иметь надобность, пиши прямо ко мне, я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, друг мой!» Великий полководец обнял меня с отеческою нежностию.

Лихорадка и телега трясут меня без пощады. У меня подорожная курьерская, и это причиною, что все ямщики, не слушая моих приказаний ехать тише, скачут сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугают их, что они хотя и слышат, как я говорю, садясь в повозку, «ступай рысью», но не верят ушам своим и, заставя лихих коней рвануть разом с места, не прежде остановят их, как у крыльца другой станции. Но нет худа без добра: я теперь не зябну; от мучительной тряски меня беспрерывно бросает в жар.

В Калуге пришел на почту какой-то, по-видимому, чиновник и, выждав, как никого не осталось в комнате, подступил ко мне тихо, как кошка, и еще тише спросил: «Не позволите ли мне узнать содержание ваших депеш?» – «Моих депеш! Забавно было бы, если б рассказывали курьерам, что написано в тех бумагах, с которыми они едут! Я не знаю содержания моих депеш». – «Иногда это бывает известно господам курьерам; я скромен, от меня никто ничего не узнает», – продолжал шептать искуситель с ласковою миной. «И от меня так же. Я скромен, как и вы», – сказала я, вставая, чтоб уйти от него. «Одно слово, батюшка! Москва…» Остального я не слыхала, села в повозку и уехала. Сцены эти повторялись во многих местах и многими людьми; видно, им не новое было расспрашивать курьеров.

Казань. Я остановилась в доме Благородного собрания, чтобы пообедать. Лошади были уже готовы, и обед мой приходил к концу, как вошло ко мне приказное существо с тихою поступью, прищуренными глазами и хитрою физиогномией: «Куда изволите ехать?» – «В С…» – «Вы прямо из армии?» – «Из армии». – «Где она расположена?» – «Не знаю». – «Как же это?» – «Может быть, она перешла на другое место». – «А где вы оставили ее?» – «На поле между Смоленском и Москвою». – «Говорят, Москва взята; правда ли это?» – «Неправда! Как можно!» – «Вы не хотите сказать! все говорят, что взята, и это верно!» – «А когда верно, так чего ж вам больше?» – «Стало, вы соглашаетесь, что слух этот справедлив?» – «Не соглашаюсь! прощайте, мне некогда ни рассказывать, ни слушать вздору о Москве». Я хотела было ехать. «Не угодно ли вам побывать у губернатора? он просил вас к себе», – сказал хитрец совсем уже другим тоном. «Вам надобно было сказать мне это сначала, не забавляясь расспросами, а теперь я вам не верю, и к тому ж я курьер и заезжать ни к кому не обязан». Чиновник опрометью бросился от меня и через две минуты опять явился: «Его превосходительство убедительно просит вас пожаловать к нему; он прислал за вами свой экипаж». Я тотчас поехала к губернатору. Почтенный Мансуров начал разговор свой благодарностью за мое благоразумие в отношении к нескромным расспросам. «Мне очень приятно было, – говорил он, – слышать от своего чиновника, с какою осторожностью вы отвечали ему; я много обязан вам за это. Здесь наделал было мне хлопот один негодяй, вырвавшийся из армии; столько наговорил вздору и так растревожил умы жителей, что я принужден был посадить его под караул. Теперь прошу вас быть со мною откровенным: Москва взята?» Я медлила ответом: губернатора смешно было бы обманывать, но тут стоял еще какой-то чиновник, и мне не хотелось при нем отвечать на такой важный вопрос. Губернатор угадал мысль мою: «Это мой искренний друг, это второй я! прошу вас не скрывать от меня истины, меня удостаивает доверенностию и сам государь; сверх того, мне надобно знать о участи Москвы и для того, чтобы взять свои меры в рассуждении города; буйные татары собираются толпами и выжидают случая наделать неистовств; я должен это упредить; итак – Москва точно взята?» – «Могу вас уверить, ваше превосходительство, что не взята, но отдана добровольно, и это последний триумф неприятеля нашего в земле русской: теперь гибель его неизбежна!» – «На чем же вы основываете ваши догадки?» – спросил губернатор, на лице которого при словах Москва отдана изобразилось прискорбие и испуг. «Это не догадки, ваше превосходительство, но совершенная уверенность: за гибель врагов наших порукою нам спокойствие и веселый вид всех наших генералов и самого главнокомандующего. Не натурально, чтоб, допустя неприятеля в сердце России и отдав ему древнюю столицу нашу, могли они сохранять спокойствие духа, не быв уверенными в скорой и неизбежной погибели неприятеля.

Сообразите все это, ваше превосходительство, и вы сами согласитесь со мною». Губернатор долго еще разговаривал со мною, расспрашивая о действиях и теперешнем положении армии и, наконец, прощаясь, наговорил мне много лестного и в заключение сказал, что Россия не дошла бы до крайности отдать Москву, если б в армии были все такие офицеры, как я. Подобная похвала, и от такого человека, как Мансуров, вскружила бы голову хоть кому, а мне и подавно. Мне, которую ожидает тьма толков, заключений, предположений и клевет, как только пол мой откроется! Ах, как необходимо будет мне тогда свидетельство людей подобных Мансурову, Ермолову и Коновницыну!..

Рассказ татарина. Поездка домой

За Казанью начинаются леса обширные, густые, дремучие и непроходимые; зимою большая дорога, идущая через них, так же узка, как и всякая проселочная; последние еще имеют преимущество перед первою, потому что ими можно иногда ближе проехать и всегда уже дешевле; последнее обстоятельство для меня было также немаловажно, и я со второй станции поворотила с большой дороги на маленькую, которая вела и час от часу глубже заходила в чащу соснового леса. Наступила ночь! в дремучем лесу ничто не шелохнуло, и только раздавались восклицания моего ямщика и заунывные песни старого татарина, ехавшего вместе со мною от самой Казани; он выпросил у меня позволение сидеть на облучке повозки и за то прислуживал мне в дороге; гайда, гайда, Хамитулла!.. пел он протяжным и грустным напевом своего народа; это был припев какой-то нескончаемой песни.

Наконец я дома! Отец принял меня со слезами! Я сказала, что приехала к нему отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою, не имеющую никакого уже цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр. Я отдала ее Наталье, которая говорит, что сошьет себе капот из нее.

Рассказав отцу о добром расположении ко мне Главнокомандующего, я убедила его отпустить со мною брата; он согласился на эту жестокую для него разлуку, но только с условием дождаться весны; сколько я ни уверяла, что для меня это невозможно, батюшка ничего слышать не хотел. «Ты можешь ехать, – говорил он, – как только выздоровеешь, но Василия не отпущу зимой: в такие лета! в такое смутное время! нет, нет! ступай одна, когда хочешь; его время не ушло; ему нет еще четырнадцати лет». Что мне делать? предоставляю времени ознакомить батюшку с мыслию расстаться с нежно любимым сыном; не дожидаюсь и пишу к Кутузову, что, «желая нетерпеливо возвратиться под славные знамена его, я не надеюсь иметь счастие стать под ними вместе с братом своим, потому что старый отец не хочет отпустить от себя незрелого отрока на поле кровавых битв в такое суровое время года и убеждает меня, если можно, дождаться теплого времени, и что я теперь совсем не знаю, что мне делать».

Я получила ответ Кутузова; он пишет, что я имею полное право исполнить волю отца; что, будучи отправлена Начальником армии, я только ему одному обязана отчетом в продолжительности моего отсутствия; что он позволяет мне дождаться весны дома, и что я ничего через это не потеряю в мнении людей, потому что опасности и труды я делила с моими товарищами до конца, и что неустрашимости моей сам Главнокомандующий очевидный свидетель. <…> Я показала письмо батюшке, и старый отец мой так тронут был милостями и вниманием ко мне знаменитого полководца, что не мог не заплакать. Я хотела было сохранить это письмо памятником доброго расположения ко мне славнейшего из героев России, но батюшка, взяв к себе эту бумагу, заставлял меня двадцать раз в день краснеть, показывая ее всем и давая каждому читать. Я принуждена была унесть это письмо тихонько и сжечь; когда узнал отец о моем поступке, то очень оскорбился и строго выговаривал мне, укоряя в непростительном равнодушии к такому лестному вниманию первого человека в государстве. С почтительным молчанием выслушала я батюшкины упреки, но, по крайней мере, довольна была, что нескончаемое чтение письма Кутузова прекратилось.

Здесь живут пять пленных французских офицеров; трое из них очень образованные люди. Уверенность их в благоразумии Наполеона делает честь собственному их благоразумию: они указывают на карте Смоленск и говорят мне: monsieur Александр, франсус тут. Я не имею духа вывесть их из счастливого заблуждения; на что мне говорить им, что безрассудные французы в западне!

Наконец после множества отлагательств батюшка решился отпустить брата: да и пора! снег весь уже стаял, я горю нетерпением возвратиться к военным действиям. Получа свободу готовиться к отъезду, я принялась за это с такою деятельностию, что в два дня все было кончено. Отец дал нам легкую двуместную коляску и своего человека до Казани, а там мы поедем уже одни. Отцу очень не хотелось отпустить брата без слуги; но я представила ему, что это могло бы иметь весьма неприятные последствия, потому что лакея ничто не удержало бы говорить все, что ему известно. Итак, решено, что мы едем одни.

1813 год. Война в Европе

1-го мая, в понедельник, на рассвете оставили мы дом отцовский! Совесть укоряет меня, что я не уступила просьбе батюшки не ехать в этот день. Он имеет предрассудок считать понедельник несчастливым; но мне надобно было уважить его, а особливо в этом случае. Отец отпускал любимого сына и расставался с ним, как с жизнию! Ах, я не права, очень не права! сердце мое не перестает укорять меня. Я воображаю, что батюшка будет грустить и думать гораздо более теперь, нежели когда б мы, согласно воле его, выехали днем позже. Человек неисправим! Сколько раз уже раскаивалась я, поступив упорно потому только, что считала себя вправе так поступить! Никогда мы не бываем так несправедливы, как тогда, когда считаем себя справедливыми. И как могла, как смела я противопоставить свою волю воле отца моего, я, которая считаю, что отец должен быть чтим детьми своими как божество? Какой демон наслал затмение на ум мой?..

За три станции не доезжая Казани коляску нашу изломало в куски: нас сбросило с косогора в широкий ров; коляска наша растрещилась, но мы, к счастию, остались оба невредимы. Теперь мы поедем в телеге. Как странна участь моя! Сколько лет уже разъезжаю я именно на том роде повозки, которой не терплю!

Москва. Митрофанов сказал нам горестную весть: Кутузов умер! Теперь я в самом затруднительном положении: брат мой записан в Горную службу и в ней числится, а я увезла его, не взяв никакого вида от его начальства. Как мне теперь отдать его в военную службу! При жизни Кутузова необдуманность эта не имела бы никаких последствий; но теперь я буду иметь тьму хлопот. Митрофанов советует отослать Василия домой; но с первых слов об этом брат решительно сказал, что он ни для чего не хочет возвратиться в дом и, кроме военной службы, ни в какой другой не будет.

Смоленская дорога. Проезжая лесами, я долго не могла понять причины дурного запаха, наносимого иногда ветром из глубины их. Наконец, я спросила об этом ямщика и получила ответ, какого не могло быть ужаснее, сказанный со всем равнодушием русского крестьянина: где-нибудь француз гниет.

В Смоленске ходили мы по разрушенным стенам крепости; я узнала то место близ кирпичных сараев, где мы так невыгодно были помещены и так беспорядочно ретировались. Я указала его брату, говоря: «Вот здесь, Василий, жизнь моя была в опасности». Бегство французов оставило ужасные следы: тела их гниют в глубине лесов и заражают воздух. Несчастные! никогда еще ничья самонадеянность и кичливость не были так жестоко наказаны, как их! Ужасы рассказывают об их плачевной ретираде. Когда мы воротились на станцию, смотрителя не было дома; жена его просила нас войти в комнату и записать самим свою подорожную. «Лошади сейчас будут», – сказала она, садясь за свою работу и поцеловав нежно миловидную девочку, которая стояла подле нее. «Это дочь ваша?» – спросила я. «Нет, это француженка, сирота!..» Пока закладывали нам лошадей, хозяйка рассказала трогательную историю прекрасной девочки. Французы шли к нам на верную победу, на прочное житье, и в этой уверенности многие взяли с собою свои семейства. При гибельной ретираде своей, или, лучше сказать, бегстве обратно, семейства эти старались укрываться в лесах, и от стужи, и от казаков. Одно такое семейство расположилось в окрестностях Смоленска в лесу, сделало себе шалаш, развело огонь и занялось приготовлением какой-то скудной пищи, как вдруг гиканье казаков раздалось по лесу… Несчастные! Они кинулись все врозь, куда глаза глядят, и стараясь только забежать в самую густоту леса. Старшая дочь, лет осьми девочка (эта самая, которая теперь стоит перед нами, опершись на колени своей благодетельницы, и плачет от ее рассказа), забежала в непроходимую чащу и до самого вечера ползала в глубоком снегу, не имея на себе ничего, кроме белого платьеца. Бедное дитя, совсем окоченев-

шее, выползло наконец при закате солнца на большую дорогу; оно не имело сил идти, но ползло на руках и ногах. В это время проезжал верхом казацкий офицер; он мог бы и не видать ее, но девочка имела столько присутствия духа, что, собрав все силы, кричала ему: mon ami! par bonte prenez moi sur votre cheval! (мой друг! сделайте милость, посадите меня на вашу лошадь! – *фр.*) Удивленный казак остановил лошадь и, всматриваясь в предмет, шевелящийся на дороге, был тронут до слез, видя, что это дитя почти полунагое, потому что все ее одеяние изорвалось, руки и ноги ее были совсем закоченевши; она упала наконец без движения. Офицер взял ее на руки, сел с нею на лошадь и поехал к Смоленску. Проезжая мимо станции, он увидел жену смотрителя, стоящую у ворот. «Возьмите, сделайте одолжение, эту девочку на ваше попеченье». Смотрительша отвечала, что ей некуда с ней деваться, что у нее своих детей много. «Ну, так я при ваших глазах размозжу ей голову об этот угол, чтоб избавить дальнейших страданий!» Пораженная, как громом, этою угрозой и думая уже видеть исполнение ее на самом деле, смотрительша поспешно выхватила бесчувственную девочку из рук офицера и унесла в горницу; офицер поскакал далее. Более двух месяцев дитя находилось почти при смерти; несчастное все поморозилось; кожа сходила лоскутьями с рук и ног, волосы вышли, и наконец, после сильной горячки, оно возвратилось к жизни. Теперь эта девочка живет у смотрительши как любимая дочь, выучилась говорить по-польски и, благодаря незрелости возраста своего, не сожалеет о потерянных выгодах, на какие имела право по знатности своего рода: она из лучшей фамилии в Лионе. Многие знатные дамы, которым смотрительша рассказывала, так же, как и нам, эту историю, предлагали трогательной сироте жить у них; но она всегда отвечала, обнимая смотрительшу: «Маменька возвратила мне жизнь; я навсегда останусь с нею!» Смотрительша заплакала, оканчивая этими словами свою повесть, и прижала к груди своей рыдающее дитя. Сцена эта тронула нас до глубины души.

Курьерскую подорожную у меня взяли и дали другую только до Слонима, где все офицеры, почему-нибудь отставшие от своих полков, остаются уже под начальством Кологривова; и меня ожидает та же участь! На дороге съехались мы с гусарским офицером Никифоровым, весьма вежливым и обязательным, но немного странным. Мой повеса брат находит удовольствие сердить его на каждой станции.

Слоним. Опять я здесь; но как все изменилось! Я не могла даже отыскать прежней квартиры у старого гвардейца. Кологривов принял меня с самым строгим начальническим видом: «Что вы так долго пробыли дома?» – спросил он; я отвечала, что за болезнью. «Имеете вы свидетельство от лекаря?» – «Не имею!» – «Почему?» – «Не находил надобности брать его». Этот странный ответ рассердил Кологривова до крайности. «Вы, сударь, повеса…»

Я ушла, не дав ему кончить этого обязательного слова. Итак… что ж теперь делать? Имея на руках несовершеннолетнего брата, которого нельзя отдать в полк, потому что он числится уже в Горной службе: куда я денусь с ним! Так думала я, закрыв лицо руками и облокотясь на большой жидовский стол. Тихий удар по плечу заставил меня взглянуть на свет божий. «Что вы так задумались, Александров? вот вам приказ от Кологривова; вам должно ехать в Лаишин к ротмистру Бибикову и принять от него лошадей, которых вы будете пасти на лугах зеленых, на мураве шелковой!» Я совсем не имела охоты шутить: что я буду делать с братом? куда я дену его? взять с собою в полк, представить ему картину жизни уланской, такому незрелому юноше! сохрани Боже! но что ж я буду делать?.. Ах, для чего я не оставила его дома? мое умничанье растерзало сердце отца разлукою с нежно любимым сыном и вместо пользы принесло мне хлопоты и досаду!.. Печаль и беспокойство столько изменили вид мой, что Никифоров, наш дорожный товарищ, был тронут этим: «Оставьте у меня вашего брата, Александров, я буду ему тем же, чем были вы, и точно ту же дружбу и те же попечения увидит он от меня, как бы от самих вас». Предложение благородного Никифорова сняло тяжесть с сердца моего; я поблагодарила его от всей души и отдала ему

брата, прося последнего не терять времени, писать к отцу и требовать увольнения из Горной службы. Я отдала ему все деньги, простилась и уехала в Лаишин.

Ротмистр Бибиков, Рузи, Бурого и я имеем поручение откармливать усталых, раненых и исхудавших лошадей всех уланских полков; на мою часть досталось сто пятьдесят лошадей и сорок человек улан для присмотра за ними. Селение, в котором квартирую, в пятнадцати верстах от Лаишина, окру жено лесами и озерами. Целые дни провожу я, разъезжая верхом или прогуливаясь пешком в темных лесах и купаясь в чистых и светлых, как хрусталь, озерах.

Я занимаю обширный сарай, это моя зала; пол ее усыпан песком, стены украшены цветочными гирляндами, букетами и венками; в средине всего этого поставлено пышное ложе, во всем смысле этого слова пышное: на четырех низеньких отрубках положены три широкие доски; на них настлано четверти в три вышиною мелкое душистое сено почти из одних цветов и закрыто некоторым родом бархатного ковра с яркими блестящими цветами; большая сафьянная подушка черного цвета с пунцовыми украшениями довершает великолепие моей постели, служащей мне также диваном и креслами: я на ней сплю, лежу, сижу, читаю, пишу, мечтаю, обедаю, ужинаю и засыпаю. Теперь июль; в течение длинного летнего дня я ни на одну минуту не соскучиваюсь, встаю на заре в три часа, то есть просыпаюсь, и тогда же улан приносит мне кофе, которого и выпиваю стакан с черным хлебом и сливками. Позавтракав таким образом, иду осматривать свою паству, размещенную по конюшням; при мне ведут их на водопой; по веселым и бодрым прыжкам их вижу я, что уланы мои следуют примеру своего начальника: овса не крадут, не продают, но отдают весь этим прекрасным и послушным животным; вижу, как формы их, прежде искаженные худобою, принимают свою красивость, полнеют, шерсть прилегает, лоснится, глаза горят, уши, едва было не повисшие, начинают быстро двигаться и уставляться вперед; погладив и поласкав красивейших из них, приказываю оседлать ту, которая веселее прыгает, и еду гулять, куда завлечет меня любопытство или пленительный вид. В двенадцать часов возвращаюсь в свою сплетенную из хвороста залу: там готова уже мне миска очень вкусных малороссийских щей или борщу и небольшой кусок черного хлеба. Окончив обед, после которого я всегда немножко голодна, иду опять гулять или по полям, или над рекою; возвращаюсь домой часа на два, чтоб написать несколько строк, полежать, помечтать, настроить воздушных замков, опять разломать их, просмотреть наскоро свои Записки, не поправляя в них ничего; да и куда мне поправлять и для чего; их будет читать своя семья, а для моих все хорошо. Перед вечером иду опять гулять, купаться и наконец возвращаюсь присутствовать при вечернем водопое. После всего этого день мой заключается сценою, которая непременно каждый вечер возобновляется: теперь рабочая пора, и так при наступлении ночи все молодицы и девицы с протяжным пением (отвратительнее которого я ничего не слыхала) возвращаются с полей и густою толпою идут к деревне; у входа ее ожидают их мои уланы, тоже толпою стоящие; соединясь, обе толпы смешиваются; пение умолкает; слышен говор, хохот, визг и брань (последняя всегда от мужей); с таким гамом все они вбегают в деревню и наконец идут по домам.

<…> Замечаю я, что носится какой-то глухой, невнятный слух о моем существовании в армии. Все говорят об этом, но никто, никто ничего не знает; все считают возможным, но никто не верит; мне не один раз уже рассказывали собственную мою историю со всеми возможными искажениями: один описывал меня красавицею, другой уродом, третий старухою, четвертый давал мне гигантский рост и зверскую наружность и так далее… Судя по этим описаниям, я могла б быть уверенною, что никогда ничьи подозрения не остановятся на мне, если б одно обстоятельство не угрожало обратить наконец на меня замечания моих товарищей: мне должно носить усы, а их нет и, разумеется, не будет. Назимовы, Солнцев и Лизогуб часто уже смеются мне, говоря: «А что, брат, когда мы дождемся твоих усов? уж не лапландец ли ты?» Разумеется, это шутка; они не полагают мне более восемнадцати лет. <…>

В Брест-Литовском, прежде выступления за границу, должно было нам выдержать инспекторский смотр. Целые два часа проливной дождь обливал нас с головы до ног. Наконец, промокшие до костей, перешли мы за рубеж России; солнце вышло из облаков и ярко заблистало; лучи его и теплый летний ветер скоро высушили наши мундиры.

Ночь в Богемии

«Ваше благородие завтра дежурным по эскадрону». – «Рано ли поход?» Вахмистр, объявлявший мне мое дежурство, отвечал, что в приказе отдано: в четыре часа утра быть на сборном месте. «Хорошо, ступай…» Сегодня до смерти устала! Только что пришли на квартиры, я отдала моего Урагана Киндзерскому и пустилась по первой тропинке, какая попалась на глаза, идти, куда она поведет, и целый день проходила, то взбираясь на горы, то спускаясь в долины, то бегая от одного прекрасного места к другому; мне везде хотелось быть, где только я видела хорошее местоположение, а их было множество. Не прежде как по закате солнца кончилась моя прогулка. Спеша возвратиться в эскадрон, я не могла, однако ж, не остановиться еще на четверть часа, чтоб полюбоваться, как вечерний туман, подобно беловатому дыму, начинал наполнять узкие ущелья гор. Наконец я дома, то есть в эскадроне (извините, любезный батюшка! я всякий раз забываю, что вы не любите, когда я употребляю слово дом, говоря об эскадроне), и первою встречею был наряд на дежурство.

Я позвала своего денщика: «Зануда, разбуди меня завтра на рассвете». – «Не турбуйтесь, ваше благородие; разбудит вас генерал-марш!» – «Ах да, я и забыл, ну так не надобно».

Что может быть досаднее, как генерал-марш на рассвете!.. Заря еще не совсем занялась, а уже трубачи стали фронтом перед моими окнами и заиграли эту штуку, которая имеет волшебную силу не только прогнать сон, но и заставить в ту же секунду вставать и одеваться ленивейших из нашего вооруженного сословия. Хотя я считаюсь одним из деятельнейших офицеров, однако ж никогда еще мне так не хотелось остаться в постели на полчаса, как теперь. Но вот Рузи распахнул дверь настежь и влетел в полном униформе. «Как, ты еще лежишь! а дежурство? вставай, вставай! какой ты чудак! разве не слыхал генерал-марша?» – «Как будто можно не слыхать, когда над самым ухом играют в десять труб!» – «Уж и в десять; какое великолепие! всего два трубача ездят по деревне. Однако ж вставай, ведь ротмистр шутить не любит». – «Вот еще вздумал стращать». – «Вставай, я иду выводить эскадрон…» Рузи ушел, а я в пять минут оделась. Мне чтото показалось, что к полному униформу надобен султан, и я приказала Зануде подать его; но когда он принес, то я совсем не могла понять, что такое проклятый усач держит в руках; это была какая-то длинная, желто-бурая кисть. «Что это такое, Зануда?» – «Султан вашего благородия!» – «Это султан… где ж он был у тебя?» – «В чемодане!» – «И, верно, без футляра?» – «Без футляра!» – «Подай, негодный человек!..» Я с досадою вырвала из рук остолбеневшего Зануды султан свой и, вложив его в каску, пошла к товарищам. Зануда ворчал вслед про себя: «На урода все не в угоду; перед кем он хотел пялиться с своим султаном!..» Взглянув на мои нахмуренные брови и на султан, ни на что не похожий, офицеры хором захохотали: «Ах, как ты мил сегодня, Александров! Как тебе к лицу этот султан! Сегодня ты и он сотворены друг для друга!.. И к чему так украсился, позволь спросить?» – «Я дежурным». – «Так что ж?» – «Надобно быть в полной форме». – «И с султаном?» – «Да!» – «Как ты смешон… полно, брат, брось эту дрянь, а то он сломит тебе голову при теперешнем ветре». Я не послушалась.

Мы выступили. На походе Рузи сдал мне дежурство, и как он в четвертом взводе, то мы и ехали вместе за эскадроном.

«Знаешь ли, Александров, где мы ночуем сегодня?» – «Знаю, в поместье барона N***». – «Ну да! но ведь ты не воображаешь, какие удовольствия нас ожидают!» – «Какие же?» – «Мы квартируем в самом замке; барон богат, как Крез, гостеприимен; переход сегодняшний невелик, успеем прийти задолго до вечера; у барона, верно, есть дочери и фортепиано. О, я предчувствую что-то восхитительное!» – «Ты помешался, Рузи; кто тебя уверил, что барон расположен будет забавлять нас?» – «Немцы говорят, что он очень добр и любит жить весело». – «Ну а дочери? Если их нет?» – «Найдутся…» Ветер от часу более усили-

вался. «Переедем, Рузи, на другую сторону; ты, кажется, правду сказал, что султан сломит мне голову; этот досадный ветер порывает его из стороны в сторону…» Мы переехали. В этот день назначено было рушиться всем надеждам Рузи. Ясное небо покрылось сперва легкими облаками, после тучами и наконец обложилось все черною непроницаемою пеленою; дождь с шумом и ветром спустился на нас рекою и нещадно поливал беззащитных улан. Пока мы успели надеть свои плащи, все уже было мокро на нас; проводники нас водили бог знает где, и короткий переход растянулся так, что мы пришли на квартиры в глубокую полночь.

Мокрые, дрожащие, обрызганные красною глиной, остановились мы наконец перед пышным замком барона N***. Ах, с какою радостию спрыгнула я с лошади; мне не верилось, что я уже на земле. Целый день на коне! целый день под дождем! Члены мои совсем одеревенели! Такой переход надолго останется в памяти.

«Что ж ты встал с лошади, Александров? – спросил ротмистр. – Разве ты забыл, что ты дежурный? садись опять и разведи людей по квартирам». – «Я могу это сделать и пешком, ротмистр», – отвечала я и, взяв в повод своего Урагана, пошла было перед эскадроном. Ротмистр усовестился: «Воротись, Александров! людей разместит унтер-офицер…»

Мы пошли вверх по чистой, светлой и как стекло гладкой лестнице; вошли в комнаты великолепные, роскошно меблированные и расположились отдыхать на креслах и диванах. Злой рок постиг все, к чему только мы прикоснулись как бы то ни было: ходили ль, стояли, сидели, везде оставляли следы красной глины, которою были обрызганы с головы до ног, или правильнее – с ног до головы.

Приветливый хозяин просил нас садиться за стол; ротмистр и товарищи мои в ту ж минуту уселись, шумно заговорили, забрянчали рюмками, стаканами, тарелками, шпорами, саблями; и, полагая себя обезопасенными от дождя и ветра на всю остальную часть ночи, предались беззаботно удовольствию роскошного стола и веселого разговора.

Пользуясь их ревностным старанием около ужина, я ушла в спальню, или просто в комнату, для нас назначенную; двери из нее в столовую были растворены; несколько кроватей стояли рядом у стен. Как это не жаль барону дать такое прекрасное белье для постелей! Одна пощада, какую могла я сделать бароновой роскоши, состояла в том, что скинула сапоги, облипнувшие глиною, в остальном же во всем легла на пуховик и пуховиком закрылась. Как все это было хорошо, чисто, бело, мягко, нежно, богато! все атлас, батист, кружева, и среди всего этого мокрый улан, забрызганный красною глиной!.. Положение мое казалось мне так забавным, что я смеялась, пока не заснула.

Я проснулась от громкого и жаркого спора нашего ротмистра с майором Начвалодовым Оренбургского уланского полка: «В вашей канцелярии не умели написать», – говорил ротмистр. «Извините, – вежливо отвечал Ничвалодов, – у вас не умели прочитать». Спорили, кричали, наконец, начали снова читать приказ, и оказалось, что Ничвалодов прав: мы не на своих квартирах. Вот ужасная весть!! Я вмиг выскочила из своего теплого приюта; ротмистр искал уже меня глазами: «Где дежурный офицер! Александров! ступайте, велите играть тревогу, да как можно громче! – Но, видя, что я не трогаюсь с места, спросил с удивлением: – Что ж вы сидите?» Ничвалодов отвечал за меня, что я в одних чулках. «Вот прекрасный дежурный! ну, сударь, идите хоть в чулках!» К счастию, денщик вошел с моими сапогами; я проворно надела их и бегом убежала, чтоб не слыхать насмешливых восклицаний ротмистра: «Отличный дежурный! вам бы совсем раздеться!..» Ветер дул с воем и порывами; дождь лил, и ночь была темна, как нельзя уже быть темнее. На дворе стояли наши трубачи. «Ступайте по деревне и играйте тревогу сильнее», – сказала я им. Они поехали. Не было другого средства собрать людей наших, размещенных в деревне, растянутой версты на три по ущельям гор. Часа через полтора эскадрон собрался; мы сели на лошадей; проводники с факелами поместились впереди, назади и по бокам эскадрона; мы пошли, дрожа и проклиная поход, бурю, ротмистра и дальность квартир: нам должно было пройти еще две мили.

Отъехав с полверсты, ротмистр вдруг остановил эскадрон; мозг неугомонного начальника нашего озарила нелепая мысль оставить меня одну дожидаться людей, которые, полагал он, не слыхали тревоги или не могли поспеть на сборное место. «Соберите их всех, Александров, и приведите за нами вслед на квартиры!» Прекрасное распоряжение! но делать нечего, возражать нельзя. Я осталась; эскадрон пошел, и, когда хлопанье по грязи конских копыт совсем затихло, дикий вой ветра овладел всею окрестностью. Вслушиваясь в ужасный концерт, я мечтала, что окружена злыми духами, завывающими в ущельях гор. Право, ротмистр помешался в уме! Почему он не оставил мне одного из проводников с факелом? Что я теперь буду делать? Как найду дорогу обратно в деревню? Ее не видно, огня нигде ни одной искры не светится. Неужели мне стоять тут, как на часах, и стоять до самого рассвета? Бесполезные вопросы мои самой себе были прерваны нетерпеливым прыжком моего коня; я хотела было успокоить его, лаская рукою; но это средство, прежде всегда действительное, теперь не помогло; он прыгал, подымался на дыбы, крутил головой, храпел, бил копытом в землю и ходил траверсом то в ту, то в другую сторону; не было возможности усмирить беснующегося Урагана. Шум окрестных лесов и вой ветра оглушали меня; но, несмотря на это, мне слышался другой шум и другой вой. Желая и страшась увериться в своей ужасной догадке, я невольно и с замиранием сердца прислушиваюсь; к неизъяснимому испугу моему, узнаю, что не обманулась; что это падает ручей в глубокую пропасть и что по ту сторону оврага воет что-то, но только не ветер. Воображение мое рисовало уже мне стаю голодных волков, терзающих моего Урагана, и я так занялась этим отчаянным предположением, что забыла опасность гораздо ближайшую и вовсе немечтательную: пропасть, в которую низвергался ручей, была в двух шагах от меня, а Ураган все еще не стоял смирно; наконец я вспомнила, и первым движением было броситься с лошади; но мысль, что она вырвется и убежит за эскадроном, удержала меня. Ах, добрый отец мой! что было бы с тобою, если б ты мог теперь видеть дочь свою на бешеном коне, близ пропасти, ночью, среди лесов, ущелий и в сильную бурю!.. Гибель прямо смотрела мне в глаза! Но промысл Вышнего, Отца нашего на небесах, следит все шаги детей своих. Порыв ветра вырвал султан мой и понес быстро через ров прямо к кустарнику, где слышался мне, как я думала, вой волков, страшных товарищей ночной стражи моей; через минуту вой прекратился, и Ураган перестал прыгать. Теперь я могла бы уже встать с него, но прежнее опасение, что он вырвется, удержало меня еще раз, и я, подобно конной статуе, стояла неподвижно над обрывом бездны, в которую с шумом падал ручей.

Дождь давно уже перестал, ветер начал утихать, ночь сделалась светлее, и я могла явственно разглядеть предметы, меня окружавшие: за мною вплоть близ задних ног моего Урагана была пропасть! Во всю жизнь я не соскакивала так скоро с лошади, как теперь, и тотчас отвела ее от этого ужасного соседства. Всматриваясь с беспокойством в чернеющуюся глубь кустарников за оврагом, я не могла еще ничего разглядеть там; но Ураган покоен, итак, видно, ничего и нет. Хотелось, правда, увидеть мне и султан свой, однако ж нигде ничто не белелось, и если он не во рву, то вихрем занесло его бог знает куда. Продолжая присматриваться ко всему меня окружающему, я разглядела множество дорог, дорожек и тропинок, ведущих в горы, в ущелья и в леса; но где та, по которой мне надобно ехать? ни на одной не видно конских следов. Пока я старалась увидеть хоть малейший признак их, туман, предвестник утра, начал расстилаться вокруг меня белым облаком, сгустился и покрыл все предметы непроницаемою мглою; и вот я опять не смею сделать шагу, чтобы не сломить себе головы или не потерять вовсе уже дороги! Утомленная и опечаленная, легла я на траву подле рыхлой колоды; сперва я только облокотилась на нее, но нечувствительно склонилась и голова моя, сомкнулись глаза, и сон овла дел мною совершенно.

Рай окружал меня, когда я проснулась! Солнце только что взошло; миллионы разноцветных огней горели на траве и на листах; бездна, ручей, лес, ущелья – все, что ночью каза-

лось так страшно, теперь было так восхитительно, свежо, светло, зелено, усеяно цветами; в ущельях столько тени и травы! Последнему обстоятельству обязана я тем, что Ураган не убежал; он покойно ходил по росистой траве и с наслаждением ел ее. Я пошла к нему, без труда поймала и села на него.

Не один раз уже испытала я, что инстинкт животного в некоторых случаях более приносит пользы человеку, нежели собственные его соображения. Только случайно могла бы я потрафить на дорогу, по которой пошел эскадрон; но Ураган, которому я отдала на волю выбирать ее, в четверть часа вышел на ту, на которой ясно видны были глубокие следы множества кованых лошадей: это наш вчерашний путь! в версте от него, между ущельями, виднелась деревня барона N***; а вчера ротмистр оставил меня в нескольких саженях от нее; все это возня проклятого Урагана отвела меня на такое пространство! Я поворотила его к деревне, чтоб посмотреть, нет ли там наших людей; но он решительно не согласился на то, поднялся на дыбы и весьма картинно повернулся на задних ногах в ту сторону, куда пошел эскадрон. Кажется, Ураган умнее меня: можно ли полагать, что уланы пробудут на ночлеге до восхода солнца, если б даже и остались от эскадрона?

Дав волю коню своему галопировать, как он хочет и куда хочет, я неслась довольно скоро то с горы на гору, то по закраинам глубоких оврагов. Узкая дорога круто поворачивала направо около одного глубокого обрыва, обросшего кустарником; проскакивая это место, увидела я что-то белое в кустах; я соскочила с лошади и, взяв ее в повод, побежала туда, нисколько не сомневаясь, что это мой султан, и не обманулась; это был он и лежал на ветвях кустарника в блистательной белизне; дождь вымыл его как нельзя лучше, ветер высушил, и предмет вчерашних насмешек был бел, пушист и красив, как только может быть таким волосяной султан. Вложив его в пожелтевшую каску свою, занялась я трудным маневром сесть опять на своего адского Урагана. Не знаю, почему я не могу расстаться с этой лошадью, за что люблю ее? она так зла, так нетерпелива и заносчива, что голова моя всегда непрочна на плечах, когда сижу на этом воплощенном демоне. С четверть часа кружилась я с моим конем по кустарнику и, стараясь поставить ногу в стремя, прыгала на другой везде, где ему вздумалось вертеться; наконец гнев овладел мною, и я, рванув со всей силы повода, крикнула на него каким-то страшным голосом; конь присмирел, и я поспешила сесть на него.

Великий Боже! на какие странные занятия осудила меня судьба моя! Мне ли кричать диким голосом, и еще так, что даже бешеная лошадь усмирилась!.. Что сказали бы прежние подруги мои, если бы услышали меня, так нелепо возопившую? Я сердилась сама на себя за свой вынужденный подвиг: за оскорбление, нанесенное нежности женского органа моим богатырским возгласом!

<…> Как ни хотелось мне рассказать моим товарищам происшествие бурной ночи, однако ж я удержалась; и к чему б это послужило! Для них все кажется или слишком обыкновенно, или вовсе невероятно. …Им ведь не приходит в голову, что все обыкновенное для них очень необыкновенно для меня.

Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера

О Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год

10 мая 1812. Село Сутоки

Природа в полном цвете!.. Зеленеющие поля обещают самую богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас перед сильною грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает… Но, может быть, это мечты!.. «Недаром, – говорят простолюдины, – прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда; недаром горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала: не к добру это все! Быть великой войне!» Эти добрые люди имеют свои замечания. В самом деле, мы живем в чудесном веке: природа и люди испытывают превратности необычайные. Теперь в «Ведомостях» только и пишут о страшных наводнениях, о трясении земли в разных странах, о дивных явлениях на небе. Мы читаем в Степенных книгах, что перед великим нашествием татар на Россию солнце и луна изменяли вид свой, и небо чудесными знамениями как бы предуведомляло землю о грядущем горе…

<…> К чему, в самом деле, такое притечение войск к границам? К чему сам государь, оставя удовольствия столицы, поспешил туда разделять труды воинской жизни? – К чему, как не к войне!.. Но война эта должна быть необыкновенна, ужасна!.. Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью поглощенных источников; грудь русская есть плотина, удерживающая стремление, – прорвется – и наводнение будет неслыханно! – О, друг мой! Ужели бедствия нашествий повторятся в дни наши?.. Ужели покорение? Нет! Русские не выдадут земли своей! Если недостанет воинов, то всяк из нас будет одной рукой водить соху, а другой сражаться за Отечество!

16 июля 1812. Смоленск

Сейчас приехал я в Смоленск. Какое смятение распространилось в народе!.. Получили известие, что неприятель уже близ Орши. В самом деле, все корпуса, армию нашу составляющие, проходя различными путями к одной цели, соединились в чрезвычайно укрепленном лагере близ Дриссея и ожидали неприятеля.

Полагали, что он непременно пойдет на то место, чтоб купить себе вход в древние пределы России ценой сражения с нашими войсками; ибо как отважиться завоевывать государство, не разбив его войск?

Но дерзкий Наполеон, надеясь на неисчислимое воинство свое, ломится прямо в грудь Отечества нашего. Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы; всякий разведывает, где безопаснее. Никто не хочет достаться в руки неприятелю. Кажется, в России, равно как и в Испании, будет он покорять только землю, а не людей…

17 июля. Смоленск

Мой друг! настают времена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный, после двухсотлетнего сна, пробуждается, чуя угрозу военную. Губернский предводитель наш, майор Лесли, от лица всего дворянства испрашивал у государя позволения вооружить 20 000 ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял важную жертву сию.

Находящиеся здесь войска и многочисленная артиллерия были обозреваемы самим государем. К ним, по высочайшему повелению, должны немедленно присоединиться идущие из Дорогобужа и других депо рекрутские баталионы. Уже передовой отряд, под начальством храброго генерала Оленина, выступил к Красному. Старый генерал Лесли, поспешно вооружив четырех сынов своих и несколько десятков ратников, послал их присоединиться к тому же отряду, чтоб быть впереди. Вчера принят Е[го] И[мператорским] В[еличеством] из отставки в службу генерал-майор Пассек и получил начальство над частью здешних войск. Земское ополчение усердием дворян и содействием здешнего гражданского губернатора барона Аша со всевозможной скоростью образуется.

Смоленск принимает вид военного города. Беспрестанно звенят колокольчики; скачут курьеры; провозят пленных или шпионов.

Несколько польских губерний подняли знамя бунта. Недаром они твердили пословицу: «Слышит птичка весну». О заблуждение! Они думают воскреснуть среди всеобщего разрушения!.. Обстоятельства становятся бурны. <…>

18 июля, 1812. Село Сутоки

Наконец поля наши, покрытые обильнейшей жатвой, должны будут вскоре сделаться полями сражений. Но счастливы они, что послужат местом соединения обеих армий и приобретут, может быть, в потомстве славу Полтавских: ибо Первая Западная армия, под начальством Барклая-де-Толли, а вторая – князя Багратиона, после неисчислимых препятствий со стороны неприятеля, соединились наконец у Смоленска. Генерал Платов прибыл сюда же с 15 000 Донского войска. Армия наша немногочисленна; но войска никогда не бывали в таком устройстве, и полки никогда не имели таких прекрасных людей. Войска получают наилучшее продовольствие; дворяне жертвуют всем. Со всех сторон везут печеный хлеб, гонят скот и доставляют все нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться у стен смоленских. Некоторые из них изъявляют желание это самым простым, но, конечно, из глубины сердца исходящим выражением: мы уже видим седые бороды отцов наших, говорят они: отдадим ли их на поругание? Время сражаться!

19 июля. Там же

Я имел удовольствие обнять брата моего Григория, служащего в Либавском пехотном полку. Общество офицеров в этом полку прекрасное, солдаты отменно хороши. Объехав несколько полков, я везде находил офицеров, которые принимали меня как истинные друзья, как ближайшие родные. Кто же такие эти прекрасные люди? – спросишь ты. – Общие наши товарищи: кадеты! – О! Как полезно общественное воспитание! Никакие уставы, никакие условия обществ не могут произвести таких твердых связей между людьми, как свычка ранних лет. Совоспитанники по сердцу и душе встречаются везде с непритворным, сердечным удовольствием… Многие из товарищей наших уже полковниками и в крестах; но обхождение их со мной точно то же, какое было за 10 перед этим лет, несмотря на то что я только бедный поручик! Как сладко напоминать то время, когда между богатыми и бедными, между детьми знатных отцов и простых дворян не было никакой разницы; когда пища, науки и резвости были общими; когда, не имея понятия о жизни и свете, мы так сладостно мечтали о том и другом!.. Помнишь, как, повторяя бессмертные слова Екатерины, что корпус кадетский есть рассадник великих людей, мы любили воображать себе, что все до одного будем полезны Отечеству. Но сколько из юных растений этого рассадника, поверженные в бури случаев, утратили способности свои от бездействия, сделались бесполезными от несправедливости людей и увяли от бедности – или в тени неизвестности, лишенные спасительных лучей – ободрения!..

Вчера армии двинулись от Смоленска, вниз по течению Днепра, к окрестностям озера Катани. Авангард пошел к Рудне; оттуда ожидают неприятеля, который теперь толпится между Двиной и Днепром. Это наступательное движение войск наших много обрадовало народ. Всякий стал дышать свободнее!..

Дай бог нашим вперед! Помоги бог оттолкнуть дерзких от древних рубежей наших!.. Однако ж, идя вперед, кажется, не забывают о способах, обеспечивающих и отступление… На этих днях военное начальство требовало у гражданского губернатора надежного и деятельного дворянина для особенных важных препоручений. Зная из многих опытов усердие и деятельность брата моего Ивана, губернатор представил начальству его. Тотчас поручено было ему, со всевозможной скоростью, без лишней огласки, устроить сколько можно более переправ на Днепре у Соловьева, что на большой Московской дороге. Мосты спеют с удивительной поспешностью.

Работают день и ночь. Великие толпы народа, бегущие из разных занятых неприятелем губерний, переправляются беспрестанно. «Но неужели и войска пойдут через них?» «Ужели и Смоленск сдадут?..»

Солдаты будут драться ужасно! Поселяне готовы сделать то же.

Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании.

«Повели, государь! Все до одного идем!» Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтоб не потерять вольности. Но война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей сбираться, вооружаться и действовать, где, как и кому можно. «Дозволят – и мы, поселяне, готовы в подкрепу воинам. Знаем места, можем вредить, засядем в лесах, будем держаться – и удерживать; станем сражаться – и отражать!..»

Августа 4 дня. Село Сутоки, в 2 часа, за полдень

В сии минуты, как я пишу к тебе дрожащей рукой, решается судьба Смоленска. Неприятель, сосредоточив где-то великие силы, ворвался вчера в Красное; и между тем как наши смотрели на Рудню, он полетел к Смоленску, чтоб овладеть им внезапно. Дивизия Неверовского принесла сегодня французов на плечах; а храбрый генерал Раевский встретил их с горстью войск и не впустил в город. Сегодня все обыватели высланы; батареи расставлены.

Неприятель с двумястами тысячами наступает на Смоленск, защищаемый 150 000 наших. Покровская гора еще в наших руках. Теперь сражение горит под самыми стенами. Когда получишь эти строки, то знай, что чей-нибудь жребий уже решился: или отбит Наполеон, или – дверь в Россию отперта!..

Я сейчас иду помолиться в последний раз на гробах родителей и еду к старшему брату Василию: от него видно сражение. Прощай!

Августа 8. Село Цуриково

Я видел ужаснейшую картину – я был свидетелем гибели Смоленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. 4 числа неприятель устремился к Смоленску и встречен под стенами его горстью неустрашимых россиян. 5 числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 часов продолжалось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска. Русские не уступали ни на шаг места; дрались как львы. Французы, или, лучше сказать, поляки, в бешеном исступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра. Наконец, утомленный противоборствием наших, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью. Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись пламенем – и все, что может гореть, – запылало!..

Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками: вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными…

В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской Божьей Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужасу. Смятение людей было так велико, что многие выбегали полунагими и матери теряли детей своих. Казаки вывозили на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад. Наполеон отдал приказ, чтоб Смоленск взят был непременно 5 числа; однако ж русские отстояли его грудью, и 5 числа город не был взят. Но 6 рано – о превратность судьбы! – то, что удерживали с таким усилием, отдали добровольно!.. Главнокомандующий имел на то причины. Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его – суть окрестности Везувия после извержения. Наши поспешно отступают к Дорогобужу, но сейчас, т. е. 8 числа к вечеру, приостановились недалеко от Бредихи. Третьего дня дрались, вчера дрались, сегодня дерутся и завтра будут драться! Злодеи берут одним многолюдством.

Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может, гласит, наконец, главнокомандующий в последней прокламации своей. Итак – народная война!

Его императорское высочество Константин Павлович, усердно разделяющий с войском труды и опасности, был свидетелем кровопролитного боя и страшного пожара смоленского. С душевным прискорбием взирал он на разрушение одного из древнейших городов своего отечества. Жители Смоленска неутешны. Несчастия их неописанны. О, друг мой! Сердце твое облилось бы кровью, если бы ты увидел злополучие моей родины. Но судьбы Вышнего неиспытанны.

Пусть разрушаются грады, пылают села, истребляются дома, исчезает спокойствие мирных дней, но пусть эта жертва крови и слез, эти стоны народа, текущие в облако вместе с курением пожаров, умилостивят, наконец, разгневанные небеса! Пусть пострадают области, но спасется Отечество! Вот общий голос душ, вот искренняя молитва всех русских сердец!

Я и старший брат с нетерпением ожидали, пока выйдет брат наш Григорий из огня. Он был 12 часов в стрелках и дрался так храбро, как только может драться смолянин за свой отечественный город. В этом уверили нас все офицеры его полка. Бригадой их командовал генерал-майор Оленин и водил ее в самый жаркий огонь. Все жалеют о смерти отличного

по долговременной службе, необычайной храбрости и доброте душевной генерала Баллы, который убит 5 числа в передней цепи стрелков. Кровопролитные битвы еще продолжаются.

Мы ложимся и встаем под блеском зарев и громом перестрелок. Мне уже нельзя заехать домой; путь отрезан! Итак, иду туда, куда двигает всех буря войны!.. Сколько раненых! Сколько бегущих! Бесконечные обозы тянутся по полям; толпы народа спешат, сами не зная куда!.. Мы теперь нищие, с благородным духом, бродим уныло по развалинам своего отечества. Бедный С…! В то время как брат его сражается и отечественный город в глазах его горит, узнает он, что отец впал в жестокую горячку, а мать, испуганная приближением врага, умерла!.. Вот пример ужаснейшего положения, в котором находятся теперь многие! Повсюду стон и разрушение!.. Мы живем в дни ужаса! Прощай!.. Может быть, в этом мире уже навсегда!..

13 августа

Странствую по сгорающей земле, под небом, не внемлющим жалобам смертных. Всякий день вижу уменьшение отечества нашего и расширение власти врагов. Каждая ночь освещается заревами пожарищ.

Полнеба рдеет, как раскаленное железо. Я веду совершенно кочующую жизнь, переезжая из шалаша в шалаш, от огня к огню. В окрестностях Дорогобужа ехали мы некоторое время с конницей генерала Корфа. Старший брат мой, знающий там все тропинки, служил ей лучшим путеуказателем. Теперь пристаем чаще всего в дежурстве генерала Дохтурова. Нередко хожу я и с гренадерами, которых ведет граф Строганов. Смотря на сего вождя, не подумал ли какой-либо себялюбец: имея неисчислимые способы к жизни, имея чины, заслуги, почести и дома у себя имея рай, зачем ему бросаться в бури, которыми дышит сам ад в дни наши; зачем наряду с простым солдатом, терпя потому труд и голод, стремиться в опасно сти, на раны в смерть? Но вот что значит любовь к Отечеству!.. Потомки не уступают предкам. О, чувство благородное, чувство священное! Обладай вечно сердцами россиян!..

Помнишь, как мы вместе читали Шиллерову трагедию «Разбойники»? Помнишь, как пугала нас страшная картина сновидения Франца Мора, картина, которую Шиллер с искусством Микеланджело начертал пламенным пером своим? Там, среди ужасного пожара вселенной, леса, села и города тают как воск, и бури огненные превращают землю в обнаженную пустыню! Такие-то картины видим мы всякий раз, ложась спать! Каковы же должны быть сновидения? – спросишь ты. Их нет: усталость лишает способности мечтать. Уже и Дорогобуж и Вязьма в руках неприятеля: Смоленская губерния исчезает! Прощай!

Августа 16

Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на этого необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ли села, города и округи в руки неприятеля; вопиет ли народ, наполняющий леса или великими толпами идущий в далекие края России: его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твердости духа его. Часто бываю волнуем невольными сомнениями: куда идут войска? для чего уступают области? и чем, наконец, все это решится? Но лишь только взглядываю на лицо этого вождя сил российских и вижу его спокойным, светлым, безмятежным, то в ту же минуту стыжусь сам своих сомнений. Нет! думаю я, человек, не имеющий обдуманного плана и верной цели, не может иметь такого присутствия, такой твердости духа! Он, конечно, уже сделал заранее смелое предначертание свое; и цель, для нас непостижимая, для него очень ясна! Он действует как провидение, не внемлющее пустым воплям смертных и тернистыми путями влекущее их к собственному их благу. Когда Колумб, посредством глубоких соображений, впервые предузнал о существовании нового мира и поплыл к нему через неизмеримые пространства вод, то спутники его, видя новые звезды, незнакомое небо и неизвестные моря, предались было малодушному отчаянию и громко возроптали. Но великий духом, не колеблясь, ни грозным волнением стихии, ни бурею страстей человеческих, видел ясно перед собой отдаленную цель свою и вел к ней вверенный ему провидением корабль. Так, главнокомандующий армиями, генерал Барклай-де-Толли, проведший с такой осторожностью войска наши от Немана и доселе, что не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потеряв почти ни одного орудия и ни одного обоза, этот благоразумный вождь, конечно, увенчает предначатия свои желанным успехом. Потерянное может возвратиться; обращенное в пепел возродиться в лучшей красоте. Щедроты Александра обновят края, опустошенные Наполеоном… Всего удивительнее для меня необычайная твердость ведущего армии наши. <…>

17 августа

С какой грустью оставляют они дома, в которых родились, выросли и были счастливы! Бедные жители злополучных стран!

В одном прекрасном доме, близ дороги, написаны на стене женскою рукою простые, но для всякого трогательные слова:

Прости, моя милая Родина!

Друг мой! Настают времена, когда и богатые, оставляя великолепные чертоги, равняются с бедными и умножают толпы бегущих… Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оборонительные оружия, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!.. Сегодня крестьяне Гжатского уезда, деревень князя Голицына, вытесненные из одних засек, переходили в другие, соседние леса через то селение, где была главная квартира. Тут перевязывали многих раненых. Один 14-летний мальчик, имевший насквозь простреленную ногу, шел пешком и не жаловался. Перевязку вытерпел он с большим мужеством. Две молодые крестьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь к деду своему, другая убила древесным суком француза, поранившего ее мать. Многие имели простреленные шапки, полы и лапти. Вот почтенные поселяне войны! Они горько жаловались, что бывший управитель-поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов. Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян – полякам и прочим пришельцам?..

Того же числа

Теперь начальствует арьергардом и почти ежедневно сражается генерал-лейтенант Коновницын, воин, почтенный летами, заслугами и подвигами. У него адъютантом и правителем канцелярии общий совоспитанник и друг наш Ахшарумов, с которым я иногда видаюсь.

Быть бою кровавому, быть великому сражению! Всякий раз, когда, идя с солдатами во время ночных переходов, завожу с ними разговор или слушаю их, разговаривающих, то во всех поступках их замечаю ревностное и пламенное желание стать и сражаться! Горящие окрестности, разоряемые церкви, поруганная святыня и стон жителей с неизъяснимой силой действуют на души их. О! Как добры и благочестивы солдаты русские! Чего нельзя с ними сделать? Никто не умеет так оценить и помнить храбрости офицера, как они. Один усатый гренадер, когда я с ним вчера разговаривал и объявил свое имя, сказал мне: «Да не родня ли вам Глинка, в Либавском полку что был под Смоленском в стрелках?» «Это брат мой», – отвечал я.

«Он прехрабрый, сударь, человек! – говорил гренадер, – с ним весело ходить вперед!» Вот нечаянное приветствие – и самое лестное! От часу более распространяется слух о скором прибытии к армии Светлейшего Князя Голенищева-Кутузова. Говорят, что народ встречает его повсюду с неизъяснимым восторгом. Все жители городов выходят навстречу, отпрягают лошадей, везут на себе карету; древние старцы заставляют внуков лобызать стопы его, матери выносят грудных младенцев, падают на колени и подымают их к небу! Весь народ называет его спасителем.

Государь сказал ему: «Иди спасать Россию!» Россия, указывая на раны свои, вопиет: «Спаси меня!» Бессмертие уже готовит место на скрижалях своих, чтоб передать имя его в бесконечность времен. <…>

18 августа

Наконец прибыл сей лаврами и сединами увенчанный вождь! Некоторые из почтенных гжатских купцов привезли его сами на прекрасных своих лошадях в село Царево-Займище. Я сейчас видел Светлейшего Голенищева-Кутузова, сидящего на простой скамье подле одной избы, множество генералов окружили его. Радость войск неописанна. У всех лица сделались светлее, и военные беседы вокруг огней радостнее. Дымные поля биваков начинают оглашаться песнями.

20 августа

Как нетрудно понравиться солдату! Должно показать только ему, что заботишься о судьбе его, что вникаешь в его состояние, что требуешь от него необходимо нужного и ничего излишнего. Когда Светлейший Князь объезжал в первый раз полки, солдаты засуетились было, начали чиститься, тянуться и строиться. «Не надо! Ничего этого не надо! – говорил князь. – Я приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои! Солдату в походе не о щегольстве думать: ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе». В другой раз, увидев, что обоз какого-то генерала мешает идти полкам, он тотчас велел освободить дорогу и громко говорил: «Солдату в походе каждый шаг дорог, скорей придет – больше отдыхать будет!» Такие слова главнокомандующего все войско наполнили к нему доверенностью и любовью. «Вот то-то приехал наш “батюшка”! – говорили солдаты, – он все наши нужды знает: как не подраться с ним»; в глазах его «все до одного рады головы положить». Быть великому сражению!

Все обстоятельства предвещают сражение, долженствующее решить судьбу отечества. Говорят, что в последний раз, когда Светлейший осматривал полки, орел явился в воздухе и парил над ним. Князь обнажил сединами украшенную голову; все войско закричало «ура!». В сей же день главнокомандующий приказал служить во всех полках молебны Смоленской Божьей Матери и для иконы ее, находившейся при армии, сделать новый приличный кивот. Все это восхищает солдат и всякого!

21 августа

Мне кажется, я переселился совсем в другой свет! Куда ни взглянешь, все пылает и курится. Мы живем под тучами дыма и в области огней. Смерть все ходит между и около нас! Она так и трется промеж рядов. Нет человека, который бы не видел ее каждый день, и каждый день целые тысячи достаются ей на жертву! Здесь люди исчезают как тени. Сегодня на земле, а завтра под землей!.. Сегодня смеемся с другом; завтра плачем над его могилой!.. Тут целыми обществами переходят из этого на тот свет так легко, как будто из дома в дом! Удивительно, как привыкли здесь к смерти, в каких бы видах ни являлась: свистит ли в пулях, сеется ль в граде картечи или шумит в полете ядер и вылетает из лопающихся бомб – ее никто не пугается. Всякий делает свое дело и ложится в могилу, как в постель. Так умирают сии благородные защитники отечества! Сии достойные офицеры русские. Солдаты видят их всегда впереди. Опасность окружает всех, и пуля редкого минует!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.